

д. дар



Книга чудес
или



несколько
маловероятных
историй

Д. Дар


Книга
чудес

ИЛИ

несколько
маловероятных
историй

Л Е Н И З Д А Т
1 9 6 8

ПИСЬМО МОЛОДОМУ ДРУГУ

Вот и старость пришла,
а где же мудрость?

Из записных книжек

Однажды я заметил, что заболеваю неизлечимой болезнью. Эта болезнь называется старостью. Ее ужасные симптомы -- накопление жизненного опыта, который откладывается в сознании, как известь на стенках артерий.

Старость подкрадывалась ко мне со свойственным ей коварством: с любимыми детьми и прелестными внуками, с уважением окружающих и склерозом сосудов, с чрезвычайно разросшимся прошлым и сжавшимся в маленький комочек будущим.

Оно уютно свернулось передо мной, мое крохотное будущее, поблескивая лысиной, пенсией, вставными зубами, пузырьками с лекарствами и жизненным опытом. И уже не сладостное предчувствие неведомой и загадочной Истины изредка касалось меня своим прохладным крылом, как бывало в юности, а надежные азбучные истины окружали меня подобно подушкам, и мне хотелось умять их под себя, чтобы было еще удобнее и покойней: одну азбучную истину положить под локоток, другую — под спину, третью — под зад, и лежать на своих умятых истинах, жирея и хрюкая от своей старческой мудрости и поучая юношей, как им следует жить на свете.

И юноши пришли ко мне. Ты хорошо помнишь то время. Всем вам было по восемнадцать лет. Дерзость и робость боролись в ваших душах; вы были истерзаны грандиозной бесцельностью мироздания и своим величием, которого никто не замечает, и своим ничтожеством, на которое указывают пальцами все те, кто уже отрастил себе бороду или брюхо. Вы искали утешения в кино и футболе, в книгах и спорах, и

сладостное предчувствие Истины изредка касалось вас своим прохладным крылом.

Ты сказал мне тогда:

— Я знаю, что один человек — это только песчинка на берегу или капля в океане. Но я не чувствую себя ни песчинкой, ни каплей, а чувствую, что ни на кого не похож, никем не заменим, что я исключительный и единственный во всех временах и пространствах.

Другой сказал мне:

— Сейчас, когда я ехал к вам, я встретил в автобусе девушку. Она не красива, не умна, не мила и не обращала на меня внимания. Но я полюбил ее на всю жизнь, и это, конечно, чудо, которое невозможно объяснить. А мне говорят, что чудес не бывает.

Третий сказал:

— Неверно, будто дважды два всегда четыре. Я не могу этого доказать, но всей силой своей души чувствую, что это неверно.

Вы так искренне и щедро делились со мной своей божественной неопытностью, доверчивостью и наивностью, что вдруг случилось чудо и, вопреки своему жизненному опыту и азбучным истинам, я понял, что все мы действительно исключительны и незаменимы во всех временах и пространствах, что чудеса поджидают нас на каждом шагу — и в трамвае, и в автобусе, и за поворотом улицы, — и что дважды два не всегда четыре.

С тех пор я преодолел в себе соблазн учительства, потому что в каждом поучении скрыто чувство превосходства учителя над учеником, а я вовсе не чувствую превосходства своей надменной и уверенной старости над твоей робкой и тревожной юностью.

Поэтому я хочу, чтобы всё, что я пишу, ты воспринимал не как поучения уверенного в себе писателя, а только как наблюдения неуверенного попутчика, который приближается вместе с тобой к городу моего вымысла.

Город моего вымысла похож на всякий город: есть в нем заводы и кинотеатры, сады и бани, стадионы и магазины, особняки и общежития. Живут там парни и девушки, ученые и милиционеры, умные и глупые, красавицы и дурнушки. Некоторых из них я хорошо знаю, хотя не хотел бы их знать. Других не знаю, хотя хотел бы узнать. Одних я часто встречал, но никогда не желал их встретить. Других никогда не встречал, но всегда желал их встретить. А есть и такие, которых я не встречал, а ты встречал. А есть и такие, которых ни я не встречал, ни ты не встречал, — их я попросту выдумал. Короче говоря, город как город, только... чудеса там на каждом шагу.

Чудеса там растут на деревьях, как листья. Они висят на вешалках, как шляпы. Они таятся за каждой дверью, за каждым окном, за каждым «здравствуйте» и «до свиданья».

Ты, пожалуй, не поверишь, что все маловероятные истории, о которых я расскажу в этой маленькой книжке, случились на оаом деле. Ну что ж! Я и сам в это не очень верю. Я уже давно заметил, что если ничево не привру, то даже самая истинная правда почему-то получается у меня как выдумка. А если слевка привру, так даже явная выдумка становится похожей на правду. А кроме того, мне столько всякого пришлось за свою жизнь увидеть, столько услышать, столько самому рассказывать, что где уж тут разобраться, что я сам видел, а что другие видели, и что я видел такого, чего не хотел бы видеть, а чего не видел, что хотел бы увидеть; и что было такого, чего не могло быть, а чего не было, что должно бы быть?..

— Постойте, постойте, что это вы написали? — спросят у меня здравомыслящие читатели. — Как же может быть такое, чего не может быть?

— О, это очень просто, — отвечу я. — В городе моего вымысла чудеса никого не удивляют, как в других городах никого не удивляет то, что каждый день из небытия в бытие приходят одни люди, а другие уходят из бытия в небытие, будто бытие и небытие — это смежные комнаты.

-- Нет, — скажут здравомыслящие читатели, — в наше время небывалого развития науки и техники никаких чудес быть не может. Всё в мире взвешено и измерено, всё разложено на составные части и рассортировано по полочкам. И в нашем сознании не осталось ни одной свободной полочки, куда удалось бы вам втиснуть что-нибудь такое, чего нельзя было бы объяснить. Потому что мы, к вашему сведению можем объяснить решительно всё, что было, что есть и что будет.

Но ты не слушай их, мой юный, мой славный попутчик! Мы с тобой сошли бы с ума от скуки, если бы могли объяснить всё, что было, что есть и что будет. Наверное, жизнь тогда показалась бы нам ничтожной, как выкуренная папироса, как сношенные носки, как билет на вчерашний спектакль. А ведь нам с тобой жить трудно, хорошо и весело потому, что всё в жизни начинается не там, где начинается, и кончается не там, где кончается; потому что жизнь — это постоянное, неуловимое рождение множества причин и следствий, причудливая игра противоречий, неожиданностей, исключений из правил. И мы с тобой не станем слушать тех старых ворчунов, для которых в жизни нет ничего необыкновенного. Мы не побоимся ни противоречий, ни несуразностей, ни насмешек, которые нас могут подстергать на каждой странице. Ведь мы не преклонили колени перед моим жизненным опытом и азбучными истинами, ведь мы с тобой еще молоды, не правда ли?



То, что умный Миша был умным, знали все: и официантки в столовой, и комендант в общежитии, и девушки в клубе, и сам умный Миша догадывался об этом.

А то, что глупый Ванечка был глуповат, тоже ни для кого не было секретом: ни для официанток в столовой, ни для коменданта в общежитии, ни для

девушек в клубе. Да и сам глупый Ванечка тоже догадывался об этом.

Умный Миша был неутомим: придет с завода — и сразу за книги, или на лекцию, или на собрание. Он интересовался всем на свете.

А глупый Ванечка любил полежать. Придет с завода, поест, снимет тапочки — и на кровать. А интересовался он только тем, что можно потрогать руками.

Умный Миша любил спорить. Он мог спорить с кем угодно и о чем угодно. И рад он был спорить с утра до вечера и с вечера до утра, — только работа мешала.

А глупый Ванечка спорить не любил. Глупый Ванечка говорил, что споры ему отдыхать мешают. «Пусть умные спорят, — говорил глупый Ванечка, — а я тем временем отдохну».

И умный Миша никогда не спорил с глупым Ванечкой, потому что умные, как известно, не спорят с глупыми. Умному, как известно, интереснее поспорить с умным и переспорить умного, потому что какая же будет умному честь, если он переспорит глупого?

Но однажды случилось так, что умный поспорил с глупым. Больше поспорить ему было не с кем: все умные ушли на стадион, где в этот день играли «Спартак» и «Динамо». Только умный Миша не пошел на стадион, потому что он был слишком умным, чтобы интересоваться футболом. А глупый Ванечка не пошел на стадион, потому что он был слишком глупым, чтобы догадаться, что билет следовало купить заранее.

— Всё ясно, — сказал умный Миша, усаживаясь за учебник английского языка. — Всё совершенно

ясно: в то время как одни работают ногами, другие работают головой!

— Хе! — сказал глупый Ванечка, и это могло означать что угодно.

— А ты думаешь, что это не так? — спросил умный Миша и быстро повернулся к нему, готовый поспорить. — Ты думаешь, что для общества безразлично, чем работает человек: головой или ногами? Ты думаешь, что голова и ноги равноценны?

— Хе! — опять сказал глупый Ванечка, лежа на кровати и сладко потягиваясь.

— Ошибаешься, дружок, — сказал умный Миша, вскочив со стула. — Не ногами создаются материальные и духовные ценности. Не ноги ведут нас вперед по пути прогресса!

— Хе! — сказал глупый Ванечка и полосатыми носками уперся в спинку кровати.

— Нет, не «хе»! — закричал умный Миша. — Не ногами написаны книги, по которым мы учимся! Не ногами мы постигаем суть явлений! Даже хороший футболист, по существу, играет не столько ногами, сколько головой!

— Хе! — сказал глупый Ванечка и закурил папиросу.

— Это не возражение! — кричал умный Миша, бегая между столом и кроватью. — Изволь доказать мне, что я неправ. Но ты не сможешь этого доказать, а я докажу, что голова и ноги не равноценны, что не за ноги меня выдвинули в члены редколлегии и числят в активе...

— Хе! — сказал глупый Ванечка, выпуская дым колечками.

Умный Миша выходил из себя. Он размахивал руками, ерошил волосы, бросался к книжным полкам в

поисках нужных цитат, а глупый Ванечка затыгивался папирсой, почесывал пятку о пятку и негромко отвечал свое неизменное «хе», которое могло означать что угодно.

Но в споре, как известно, побеждает тот, кто говорит тише. И когда время приблизилось к полночи и в комнате стало так темно, что футбольную таблицу нельзя было отличить от портрета киноартистки Тамары Макаровой, умный Миша выдохся, вспотел и уже не мог найти ни одного нового довода.

Он вытер пот, сел на стул и махнул рукой.

— Хорошо, — сказал он, — пусть будет по-твоему, у меня уже нет больше сил спорить!..

Так глупый переспорил умного.

Но умный Миша никак не мог с этим примириться. Он твердо знал, что белое — это белое, а черное — это черное, что умный — это умный, а глупый — это глупый, что два плюс два не может быть девять и что глупый не может переспорить умного.

И когда Петя Коржик и красавчик Витя пришли из кино, куда они отправились прямо со стадиона, он спросил у них:

— Скажите, ребята! Слышали вы когда-нибудь, чтобы глупый переспорил умного? Может ли такое случиться?

— Нет, — сказал Петя Коржик, — никогда я не слышал, чтобы глупый переспорил умного.

А красавчик Витя сказал:

— Не может глупый переспорить умного, просто я не могу себе этого представить!

Но Миша знал, что глупый переспорил умного, и он не мог лечь спать, не выяснив: как же случилось то, что не может случиться?

И он не лег спать.

В других комнатах погасили свет. Трамваи на улице ушли в депо. Автомобили разбежались по гаражам. Только умный Миша не спал, он рылся в книгах, желая узнать: бывало ли когда-нибудь, чтобы глупый переспорил умного?

Но в книгах он не нашел ответа.

Еще не взошло солнце и никто не проснулся, а умный Миша в одних трусах уже стоял в коридоре у телефона и долго-долго звонил, пока наконец не услышал в трубке:

— Это частная квартира, черт побери! Это не скорая помощь и не пожарная команда!

— Простите, профессор Бублик! — сказал умный Миша. — Извините, что я разбудил вас, но я не могу спать...

— А? — кричал профессор Бублик. — Что случилось? Кто говорит?

— Вы меня не знаете, — сказал умный Миша, — но я вас знаю. Я слушал вашу лекцию. Я хочу знать: может ли глупый переспорить умного? Дело в том, что вчера один глупый и один умный...

— А? — кричал профессор. — Что? — кричал профессор.

Насилу умный Миша объяснил, что случилось, почему он в такой тревоге, кто умный и кто глупый, и тогда профессор стал так смеяться, что было слышно, как он даже притопывал босыми ногами по полу.

— Ну, и что же ты хочешь от меня, дружок? — спросил он. — Чем ты недоволен?

— Товарищ профессор! — сказал умный Миша. — Я просто не понимаю, как вы можете это спрашивать? Разве может быть, чтобы глупый переспорил умного?

— Да, дружок! — ответил профессор. — Это не только может быть, но так всегда и бывает, когда умный поспорит с глупым. Поэтому-то умные и не спорят с глупыми. А лично я, как только увижу глупого, так сразу заранее с ним во всем соглашаюсь.

— Ну, большое спасибо! — сказал умный Миша. — Теперь мне всё ясно. Теперь я буду еще умнее.

Он повесил трубку и вернулся в комнату, где был полумрак и все спали; только глупый Ванечка чуть-чуть приоткрыл глаза и, увидев Мишу, спросил:

— Почему ты не спишь? Наверное, еще вчерашний вечер? Да?

— Ну, конечно, еще вчерашний вечер! — сказал умный Миша.

— А может быть, уже завтрашнее утро? — спросил глупый Ванечка.

— Ну, конечно, уже завтрашнее утро! — сказал умный Миша.

И, натягивая штаны, он усмехнулся, радуясь тому, что стал еще умнее.



Прекрасная Глаша

Мы были тогда еще так молоды, что считали себя уже пожилыми мужчинами. Мы знали, что такое макрокосм и микрозвук, что такое косинус фи и фототелемеханика, и думали, что нам открыты все тайны мира и осталось лишь пожинать плоды своей мудрости.

Мы жили в одной комнате, в один час уходили на завод, одинаковые обеды заказывали в столовой, одни кинофильмы смотрели в кино; и когда один получал премию, то все покупали обновки, а когда одного должна была посетить подружка, то все шли в парикмахерскую.

Мы знали друг о друге всё.

Мы знали, что сердце нашего белокурого красавчика Вити каждую неделю разбивается вдребезги, и тогда ничего больше Вите не надо: ни галстуков, ни кино, ни велосипеда.

Мы знали, что умный Миша никогда ничему не удивляется. И если как-нибудь утром он проснется и обнаружит, что уже двадцать второе столетие, то раньше, чем проснемся мы, он найдет этому вполне правдоподобное и удовлетворительное объяснение.

Мы знали, что глупый, толстый и добродушный Ванечка не будет стоять, если можно сидеть, и не будет сидеть, если можно лежать, и самыми бесполезными занятиями он считает ухаживать за девушками, спорить с товарищами и размышлять о том, есть ли жизнь на других планетах.

И мы знали, что во всем общезнании, а может быть и на всей улице, нет парня, который был бы скромнее и честнее нашего долговязого Пети Коржика.

Он скорее язык себе отрежет, чем соврет. Иной раз так сложатся обстоятельства, что всякий соврет, и за это не осудит никто, потому что нельзя не соврать. И сам Петя Коржик понимает, что надо соврать, и даже пробует соврать, но вдруг будто споткнется, покраснеет и взглянет на нас такими жалкими глазами, что наши сердца сожмутся от сочувствия.

— Что с тобой? — спросит красавчик Витя.

— Соврать хотел, — догадается умный Миша.

— Хотел! — говорит Петя Коржик. — Хотел, ребята!

Вот каким честным был наш Петя Коржик!

И вдруг он соврал.

Да как!

Вернулся он однажды из вечерней школы, и, как только переступил порог, мы сразу увидели, что с нашим Петей что-то не то. Ни на кого он не взглянул, молча снял пальто, нетвердым шагом прошел к столу и раскрыл тетрадь. Долго сидел он над раскрытой тетрадью, — и мы ничего не подозревали. Но когда красавчик Витя подошел к зеркалу, чтобы примерить новую морскую фуражку с белым верхом, то увидел, что Петя Коржик смотрит вовсе не в тетрадь, а в угол комнаты, где нет ничего, кроме электрического провода, белых роликов и черного штепселя. Смотрит он туда не отрываясь, и в глазах его такое удивление, будто ролики там играют в чехарду.

— Что с тобой? — спросил красавчик Витя, забыв о новой фуражке.

— В чем дело? — сказал умный Миша.

И даже глупый Ванечка, хотя ничего не сказал, но приподнял на кровати свое могучее тело и участливо поглядел на Петю.

— Ой, ребяташки! — проговорил Петя растерянно и удивленно. — Ой, ребяташки-братцы!

И он рассказал, что на экзамене по химии познакомился с девушкой, что такой красавицы мы никогда не видели — ни в кино, ни на картинках, ни в жизни: она так стройна и легка, что всё время стараешься не дышать, чтобы она не переломилась и не улетела. И она не ходит по земле, как все другие девушки на свете, а скользит по воздуху, не касаясь земли подметками. А голос у нее такой певучий и

мягкий, что стоит ей произнести самое простое слово, ну хотя бы «здравствуйте» или «до свидания», — и кажется, будто раздалась задушевная песенка, от которой хочется смеяться и плакать одновременно. А в глаза ей просто невозможно глядеть — голова кружится как у пьяного и земля плывет под ногами.

Ну и посмеялись мы над своим дружкой! Откуда могла появиться такая красавица в нашей школе, где мы всех красавиц знали наперечет и среди них не было ни одной, которая уже не разбила бы сердце красавчика Вити? А если бы вдруг и появилась такая красавица, так за что бы она полюбила нашего долговязого, нашего большеухого, нашего скромника Петю Коржика?

Парень он, правда, хоть куда: и работает неплохо, и в шахматы играет, и школу скоро кончит, но кавалер самый никудышный. Восемнадцать лет на свете прожил, а танцевать так и не научился. И галстук завязать как следует не умеет. И подбородок всегда в чернилах. И главное — девушек боится. Как только незнакомую девушку увидит — поскорей в сторону. А если в сторону никак нельзя, так тут такое с нашим беднягой творится, что смотреть жалко: идет рядом с девушкой, слова не вымолвит, только глазами нам знаки подает: погибаю, мол, не покидайте!

Уж мы его учили-учили, — и все вместе и порознь. Красавчик Витя весь свой опыт ему передал — ничего не утаил. Умный Миша целую лекцию прочитал — научно доказал, что девушка, по существу, ничем не отличается от парня. Не помогло.

И как же он мог познакомиться с такой красавицей, да еще на экзамене по химии?

— Всё ясно, — сказал умный Миша. — Когда че-

ловек влюбляется, контроль рассудка ослабевает и явления внешнего мира могут отражаться в сознании с некоторыми искажениями. — И он поправил очки на своем ученом носике, похожем на маленькую кнопчку.

А красавчик Витя, комкая в руках повую фуражку, взволнованно убеждал:

— Уж поверь мне, уж мне ли не знать? Нет таких, чтобы земли не касались подметками! Соврал ты, Петя Коржик!

А Петя клянется, что он нисколько не соврал, что всё так и есть, как он говорит.

— Пойдите, ребята, — сказал умный Миша. — Ясно одно: мы должны сами увидеть эту красавицу и решить — действительно ли она так красива, как нас уверяет Петя Коржик, или же он просто жалкий влюбленный, и слова его не заслуживают никакого доверия!

Сначала Петя Коржик ни за что не хотел назвать ее имени, но когда умный Миша сказал, что в таком случае он будет считать разговор исчерпанным и лучше займется изучением английского языка, бедняга сдался.

— Пожалуйста! — сказал он. — Глаша Парфенова! Угол бульвара Молодежи и переулка Светлых Надежд. Там дом строится. Там она работает.

На следующий день, сразу после работы, наспех умывшись, мы вскочили на велосипеды и среди потока автомобилей, автобусов и троллейбусов помчались к переулку Светлых Надежд.

Пети Коржика с нами не было. Он пошел в парикмахерскую подстричь свои космы, потому что вечером должен был встретиться с Глашей Парфеновой в парке культуры и отдыха.

На углу бульвара Молодежи и переулка Светлых Надежд действительно строился дом. Он был обнесен лесами, будто клеткой, и на разных этажах работали девушки в красных платочках и синих брюках.

Мы соскочили с велосипедов, задрали кверху головы; и, хотя нас толкали прохожие, мы стояли и разглядывали девушек, надеясь увидеть среди них ту, которая так поразила воображение Пети Коржика.

Но девушки были как девушки, не лучше и не хуже всех других девушек на свете: и все они касались подметками дощатого настила лесов; и каждой можно было поглядеть в глаза — голова не кружилась. Не было среди них ни особых красавиц, ни особых дурнушек, кроме, впрочем, одной — неуклюжей толстушки в мальчиковых ботинках, которая топала так, что доски под ней гнулись и грохотали, будто кто-то бросал на них булыжники.

Она проходила на высоте третьего этажа с ведром и кистью в руках и напевала таким голосом, что прохожие, которым даже в голову не могло прийти, что этот голос принадлежит девушке, говорили: «Уж если не могут исправить громкоговоритель, так лучше бы выключили его совсем».

— Эй ты! — закричал красавчик Витя. — Пожалей, пожалуйста, наши барабанные перепонки!

Услышав это, она перегнулась через перила, и мы увидели такие добродушно-веселые щелочки глаз и столько веснушек на несоразмерно маленьком носике, похожем на озорную морковь, что нам стало весело, как в цирке.

— Чего рты разинули, бездельники! — закричала толстушка. — А ну, марш отсюда, а не то я вас разделаю, как вот эту стену! — И она обмакнула кисть в ведро с зеленой краской.

— Постой! Постой! — замахал руками красавчик Витя. — Скажи, где тут работает Глаша Парфенова?

— А зачем вам Глаша Парфенова? — спросила она. — Зачем она вам, бездельникам, понадобилась? Я — Глаша Парфенова!

— Ты... Глаша Парфенова?

— Это... Глаша Парфенова?

— Она... Глаша Парфенова?

— Я — Глаша Парфенова!

Мы так и покатались со смеху. А Глаша Парфенова, глядя на нас, стала смеяться тоже. И смеялась она так, что доски под ней ходили ходуном и зеленая краска выплескивалась из ведерка и капала на белый верх новенькой морской фуражки красавчика Вити.

Всю дорогу мы хохотали. Ну и разыграл нас наш тихоня и скромник! И кто бы мог подумать, что он способен выкинуть такую штуку?

Когда мы вернулись, Петя Коржик был уже дома. В парикмахерской его подстригли, побрызгали одеколоном, галстук был завязан по всем правилам. Петя сидел всё над той же тетрадью, но решал, как видно, такую задачу, какой нет ни в одной школьной программе.

— Были у нее? — спросил он с тревогой. — Видели?

— Ой, были! — хохотал красавчик Витя.

— Ой, видели! — покатывался умный Миша.

А Петя чуть не плакал.

— Может, вы приняли за нее другую, — говорил он в отчаянии. — Может, там у них две Глаши Парфеновы?... Пойдемте со мной, вы увидите сами, что я не приврал ни слова, что такой, как она, нет ни в кино, ни на картинках, ни в жизни.

И мы пошли вместе с Петей на свидание.

Свидание было назначено в парке культуры и отдыха, за музыкальной раковиной. Там, возле пруда, стоит одинокая скамейка, на которой вырезано сорок три мужских имени, и сорок три женских имени, и сорок три сердца, пронзенных сорока тремя стрелами.

Петя Коржик сел на скамью, а мы устроились на берегу пруда, свесив ноги с обрыва к белым кувшинкам, лежавшим на громадных листьях, и отсюда, сквозь деревья, нам отлично была видна скамейка и на ней наш дружок, тревожно всматривающийся в даль дорожки.

Мы заметили девушку почти в тот же момент, что и Петя. Он поднялся ей навстречу и быстро обернулся в нашу сторону, как бы желая сказать: «Ну, смотрите!»

И мы смотрели.

Нет, он не был обманщиком, наш тихий и скромный Петя Коржик. Всё так и было, как он говорил. Мы отлично видели прекрасную Глашу. Ее маленькие ножки не ступали по земле, а скользили над ней, не касаясь земли подметками. И была она так стройна и легка, что малейший ветерок, казалось, мог подхватить ее и понести вдоль дорожки. А глаза... Поглядел в них красавчик Витя — и зашатался как пьяный, и схватился за куст, чтобы не скатиться с обрыва в воду.

— Здравствуй, — сказала она ошалевшему от счастья и робости Пете. — Ты давно уже здесь?

Разве она сказала «здравствуй»? Разве она спросила — давно ли он уже здесь? А нам показалось, что где-то раздалась задушевная песенка, от которой хочется смеяться и плакать одновременно.

— Видишь? — спросил красавчик Витя и схватил за руку умного Мишу.

— Не может быть, — прошептал умный Миша, который умел объяснить всё на свете.

А глупый Ванечка вздохнул и ничего не сказал.

Петя взял Глашу за руку и повел ее к скамье. Он шел, пошатываясь от счастья.

— Глаша! — говорил Петя Коржик, задыхаясь от любви и нежности. — Глаша! Я забыл твою тетрадку по химии. Я забыл ее, Глаша, я не захватил ее с собою, но я верну ее, Глаша, завтра же верну ее, твою тетрадку по химии... — Так он вел ее по дорожке и всё говорил и говорил о своей любви, а когда заглядывал ей в глаза, то пошатывался как пьяный.

Мы вернулись в нашу комнату, к нашим книгам и футбольным таблицам, к нашим бутсам и фотографиям, и молча разделись, и молча легли в свои постели, и молча лежали с открытыми глазами, строгие, счастливые и торжественные.

Красавчик Витя размышлял: «Наверное, до сих пор мое сердце еще вовсе не разбивалось вдребезги, и только сегодня оно действительно разбилось вдребезги, и больше мне ничего не надо: ни галстуков, ни кино, ни велосипеда!»

И всю ночь ему снилась прекрасная Глаша.

Умный Миша размышлял: «Первый раз я не могу объяснить чего-то, а если я не могу объяснить чего-то, то, может быть, я не могу объяснить ничего. Но если я не могу объяснить ничего, то что ж удивительного в том, что я не могу объяснить чего-то?..»

И всю ночь ему тоже снилась прекрасная Глаша.

Глупый Ванечка размышлял: «Должно быть, и Витя и Миша не спят, а думают о прекрасной Глаше. Но думай не думай — ничего от этого не изменится.

Так лучше я не буду думать о прекрасной Глаше, а буду спать, потому что зачем же не спать, когда можно спать?»

Но и он не мог заснуть, потому что всё время думал о том, как бы не думать о прекрасной Глаше.

Но утро освежает разум, и мы сообразили, что здесь что-то не так.

— Чудо! — сказал красавчик Витя.

— Преломление лучей, — сказал умный Миша, и, надевая на свою заспанную кнопочку очки, он добавил уверенно: — Не может быть одна и та же девушка такой дурнушкой днем и такой прекрасной вечером. Ясно — мы ошиблись. Или днем ошиблись, или вечером.

И чтобы проверить себя, каждый из нас решил снова пойти поглядеть на прекрасную Глашу.

Весь день мы думали о ней, и всё напоминало о ней: и тонкая струйка питьевой воды в цехе, и соловьиный свист станков, и слишком сосредоточенный вид друзей, и та чуть заметная улыбка, которая время от времени мелькала по лицу Пети Коржика.

После работы было еще собрание с такой обширной повесткой дня, словно за один вечер мы должны были решить все вопросы, которые волновали, волнуют и будут волновать человечество. И умный Миша не выступал на этом собрании, он не задавал вопросов, и не внес ни одного предложения, и все удивлялись, предполагая, что он заболел.

А как только собрание кончилось, он раньше всех помчался к проходной, прокричав нам, что ему в дружную сторону, что он очень спешит, что он потерял очки, что у него лекция, что он нашел очки, что всего хорошего... И через секунду его велосипед уже нырнул в толчею улицы.

И красавчик Витя, как оказалось, спешил, — и тоже в другую сторону.

И глупый Ванечка, выйдя за ворота, подумал минутку и сказал:

— Ну что ж, раз все спешат в другую сторону, так и я поспешу в другую сторону.

Только Петя Коржик сказал, что он никуда не спешит, и он пожал руки друзьям, которые помчались в разные стороны.

Но через десять минут наши велосипеды чуть было не столкнулись у светофора. Сначала мы попытались спрятаться друг от друга за троллейбусами, автобусами и трамваями, потом расхохотались и, когда красный свет светофора сменился зеленым, поехали гуськом среди множества красных огоньков, гнавшихся один за другим по широкой улице.

Девушек на лесах уже не было. Сторож, сидевший у ворот, указал дом, где жили строители. Все семь этажей были освещены. Сто сорок окон раскрыты настежь. Ветер колыхал сто сорок занавесок. Сто сорок абажуров разной окраски цвели в комнатах. И в одной из комнат второго этажа мы увидели Глашу Парфенову.

Она стояла возле окна, сердитая и толстенькая. В одной ее руке было зеркало, а в другой — новая шапочка.

Это была чудесная шапочка, с цветочками и листиками, яркими и свежими, будто они росли в лесу. Но как только эту шапочку надела Глаша, цветочки сразу как бы завяли и выцвели, а листики свернулись сухими серыми трубочками, и чудесная шапочка стала похожа на старую кастрюльку, надетую на пенек озорными мальчишками.

И Глаша заплакала.

Она стояла возле окна с нелепой кастрюлькой на голове, размазывая по веснушкам слезы.

Бедная девушка! Бедная дурнушка Глаша!

А мы стояли на другой стороне улицы, опираясь на свои понурые велосипеды.

Как мог так обманываться наш несчастный, наш наивный, наш влюбленный Петя Коржик? И мы сами, всю ночь и весь день думавшие о прекрасной Глаше? Или правда, что лунный свет может ввести в такое заблуждение?

Умный Миша снял очки, протер их, надел опять и снова снял, чтобы протереть, и он не сказал ни слова. И красавчик Витя ничего не сказал. И глупый Ванечка тоже.

А дурнушка Глаша между тем плакала у окна, не замечая Пети Коржика.

Он был еще далеко, но мы уже увидели его.

— Держись, Петя! Мужайся, дружок! — бодро крикнул ему красавчик Витя. — Вот она, твоя прекрасная Глаша!

— Не расстраивайся, сейчас я тебе всё объясню! — не очень уверенно закричал умный Миша.

А глупый Ванечка вздохнул и сказал:

— Хе!

И это могло означать что угодно.

Но Петя Коржик, наверное, даже не услышал наших возгласов.

— Глаша! — крикнул он, как только приблизился к ее дому.

И Глаша увидела Петю Коржика.

И едва она увидела его, как произошло чудо, какое может быть только в сказках для маленьких детей, для глупых детей, которые еще не знают ни физики, ни логики, ни диалектики.

В окне, как в раме, стояла Глаша Парфенова. Она была так стройна, что хотелось задержать дыхание, чтобы она не переломилась и не улетела. А в глаза ее нельзя было заглянуть — кружилась голова и земля пыла под ногами.

— Здравствуй, Петя! — сказала она, и нам показалась, что раздалась задушевная песенка, от которой хочется смеяться и плакать одновременно. — Здравствуй, Петя! — сказала она и вышла на балкон, и мы увидели, что ее туфельки не касались балкона подметками.

Нет, он не обманул нас, наш честный, наш скромный дружок. Прекраснее Глаши Парфеновой не было девушки в городе. Таких мы не видели ни в кино, ни на картинках, ни в жизни.

И мы поняли, что нам открыты далеко не все тайны мира и пожинать плоды своей мудрости еще рано.



Неудовлетворённые желания



Это очень странное происшествие. Оно произошло на кладбище. Поздней ночью. Один из участников этого происшествия — живой, красивый парень. Другой — покойник, лежавший в могиле.

Живой парень работал на нашем заводе.

У него были широкие плечи, светлые волосы, прекрасное здоровье и отлично сшитый костюм.

Премии за хорошую работу он получал каждый месяц, регулярно, как зарплату; в кино ходил два раза в неделю, не пропуская ни одного нового фильма; по количеству галстуков занимал первое, а по плаванию вольным стилем — второе место на заводе; и ухаживал за красавицей Маней Пальчик, в которую были влюблены: шесть офицеров, пять инженеров, четыре студента, три слесаря, два ремесленника и один председатель завкома.

И некоторые из нас завидовали живому, здоровому и красивому парню.

Но сам он считал себя несчастным, потому что имел много неудовлетворенных желаний.

Он желал купить мотоцикл, жениться на Мане Пальчик, сниматься в кино, стать чемпионом мира по плаванию. И еще у него было столько разных желаний, что даже не перечислить.

Все эти желания не давали ему покоя.

Когда он приходил в Дом культуры — широкоплечий, здоровый, красивый, в отлично сшитом костюме и ярком галстуке, — то становился к стене, скрещивал на груди руки; и, видя, что шесть офицеров, пять инженеров, четыре студента, три слесаря, два ремесленника и один председатель завкома танцуют, смеются и шутят с красавицей Маней Пальчик, он спрашивал у кого-нибудь, кто оказывался рядом:

— Как вы думаете, неужели у всех у них тоже есть неудовлетворенные желания?

Ему отвечали, что у всех есть желания, и он говорил, горько вздыхая:

— Прямо не верится, что, имея неудовлетворенные желания, можно так веселиться. А вот я просто места себе не могу найти, так мне хочется, чтобы все мои желания исполнились.

И он уходил из Дома культуры за город и бродил там один по рощам, огородам и кладбищам, предаваясь своим невеселым размышлениям.

Однажды, забредя на кладбище и не спеша возвращаясь в город, потому что дома желания терзали его особенно сильно, он прилег на траву, оперся локтем о могильный холмик, закурил и, глядя на быстрые облака, бегущие по ночному небу, стал рассуждать сам с собой:

— Ах, почему я такой несчастный? Работаю, кажется, неплохо, взысканий не имею, а исполнить все свои желания никак не могу...

Он размышлял вслух, думая, что его никто не слышит, но вдруг раздался голос — такой хриплый и простуженный, какой мог исходить только из сырой могилы.

— Здорово, приятель! — сказал из-под земли покойник. — Лежу и удивляюсь: живой, здоровый парень, а скулишь как баба. Интересно, что бы ты запел, если бы хоть день побыл в моем положении?

Живой парень был не из трусливых, иначе он не пришел бы ночью на кладбище, и он ответил своим обычным жалобным тоном:

— Конечно, тебе-то что? У тебя, наверно, нет никаких неудовлетворенных желаний.

— Вот именно, — сказал покойник, — решительно никаких. Даже закурить не хочется. Скучища такая, что можно с ума сойти.

— А ты кто такой? — спросил живой парень.

— А я Витька Малышкин. Не слышал? С машиностроительного. Я еще в самодеятельности выступал. Две недели назад похоронили. Вот так же на мокрой grave полежал и схватил воспаление легких.

— Да уж, незавидное твое положение, что и гово-

ритель, — вздохнул живой парень. — Да только и мне не сладко. Ну, стоит ли жить на свете, если нельзя удовлетворить все свои желания?

— Ой, приятель, стóит! — твердо сказал покойник. — Но если тебе совсем невтерпёж, то, так и быть, отдай-ка ты мне свои неудовлетворенные желания, пусть они терзают меня — мне уж хуже не будет.

— Шутишь? — спросил живой парень. — И у меня не останется никаких неудовлетворенных желаний?

— Будь уверен! — сказал покойник. — Решитель-но никаких.

— Ну что ж, — сказал живой парень, — если ты такой хороший товарищ, так бери поскорее себе все мои неудовлетворенные желания, потому что тебе с ними даже веселее будет лежать в могиле. Так что и я выгадаю и ты не прогадаешь.

— Пожалуйста! — сказал покойник. — Почему мертвому не пострадать за живого, разве мало живые страдали за мертвых?

И как только он это сказал, взошла луна, осветив кресты и могильные памятники, и в тот же миг все неудовлетворенные желания живого парня перешли к покойнику, а у живого парня остались только удовлетворенные желания.

— Ну как, — деловито спросил покойник, — порядок? Теперь у тебя больше нет никаких неудовлетворенных желаний? А то, может, что-нибудь позабыл, так давай вспоминай, пока не поздно!

Но ни одного неудовлетворенного желания живой парень найти в себе больше не мог.

А покойнику вдруг захотелось купить мотоцикл, жениться на Мане Пальчик, сниматься в кино, стать чемпионом мира по плаванию. И еще появилось столько разных желаний, что даже не перечислить.

Ему не терпелось исполнить их поскорей, но об этом нечего было и думать, пока он лежал в могиле. И он стал разгребать руками землю и к утру вылез из могилы.

Вид у него был довольно жалкий. Небритый, с заострившимся носиком, маленький и худенький, он дрожал в своем помятом пиджачке от неудовольственных желаний, зверского аппетита и утреннего холода.

— Скорей дай закурить, две недели не курил, — сказал он живому парню и, подхлестываемый своими желаниями, помчался к трамвайной остановке.

Как раз в это время проходил по кладбищу сторож. Он увидел, что кто-то со всех ног бежит к воротам, и это показалось ему подозрительным.

— Эй, ты! — кричал он. — Остановись! Кто такой?

— Не беспокойся, папаша, всё в порядке! — крикнул покойник. — Я покойник Витька Малышкин. Трамвай уйдет!

— Куда же ты бежишь, если ты покойник? — кричал сторож. — Остановись, а то свистеть буду!

— Трамвай уйдет! — кричал покойник. — Спешу! — И он вскочил на заднюю площадку трамвая и помахал сторожу рукой.

— Эге! — сказал сторож. — Вижу я, какой ты покойник! Нет, сынок, меня не проведешь, двадцать лет служу на кладбище, уж я-то могу отличить, кто живой, а кто покойник!

И пошел сторож по кладбищу дальше.

А дальше он увидел разрытую могилу и возле нее живого парня.

— Эй, ты! — сказал сторож. — Чего разлегся? Живой или мертвый?

— Живой, -- сказал живой парень.

— Так чего же ты не встаешь, если живой? — спросил сторож.

— Нет у меня желания встать, — сказал живой парень.

— Странно, — сказал сторож. — А на работу не опоздаешь?

— Нет у меня желания идти на работу, — сказал живой парень.

— Очень странно, — сказал сторож, почесал седой затылок и стал закуривать. — Ну что ж, коли так, давай лежи. А закурить хочешь?

— Нет у меня желания закурить, — сказал живой парень.

— Эге! — сказал сторож. — Вижу я, какой ты живой! Нет, сынок, меня не проведешь, двадцать лет служу на кладбище, уж я-то могу отличить, кто живой, а кто покойник!

И, подивившись, что покойник лежит не в могиле, он зарыл живого парня в землю.

А Витька Малышкин и сейчас работает на машиностроительном заводе. Он мечтает купить мотоцикл, жениться на Мане Пальчик, сниматься в кино, стать чемпионом мира по плаванию. И еще у него столько разных желаний, что даже не перечислить.

Все эти желания не дают ему покоя.

Но он считает себя очень счастливым.

И когда он приходит в Дом культуры — маленький, худенький и веселый, — то весь вечер танцует, смеется и шутит с красавицей Маней Пальчик, а у стены грустят и злятся шесть офицеров, пять инженеров, четыре студента, три слесаря, два ремесленника и один председатель завкома.



**Бедный
Шурик
Петров**



Есть улицы, которые славятся своими зданиями. Есть улицы, которые славятся своими садами. А наша улица славилась своими пареньками. Все пареньки с нашей улицы были как на подбор: белокурые, ясноглазые, веселые. Стоило одному из них записаться в кружок бальных танцев, как сразу же все записывались в кружок бальных танцев. Стоило од-

ному насвистать новый мотив, как сразу и все насвистывали новый мотив. Стоило одному купить шляпу, как сразу все покупали шляпы.

И только Шурик Петров, который недавно окончил ремесленное училище, был непохож на всех.

А между тем всё у него было, как у всех: волосы — белокурые; глаза — ясные; нос — веселый, чуть вздернутый; работал он, как и все, на заводе; любил, как и все, ходить в кино, играть в волейбол, покупать мороженое, ухаживать за девушками.

Но хотя всё у него было как у всех, делал он всё не как все.

Все зачесывали свои белокурые волосы набок, а он их стриг под машинку.

Все по воскресеньям ходили на танцы, а он в это время играл в шахматы.

Все щеголяли в синих костюмах, желтых ботинках и фетровых шляпах, а он — в простой гимнастерке, спортивных тапочках и форменной фуражке.

Все, ухаживая за девушками, сразу признавались им в любви, а он, ухаживая за девушкой, честно признался, что просто ему дома было скучно сидеть, вот и решил он за кем-то поухаживать.

А эта девушка была красавицей Катенькой, и кто бы ни увидел ее, тот сразу влюблялся в Катеньку, если, конечно, уже не был влюблен в другую девушку.

И Катенька Шурику Петрову резонно ответила:

— Если вам просто дома скучно сидеть, то пошли бы вы в парк культуры и отдыха, а за мною и без вас есть кому ухаживать.

Услышав такой ответ, Шурик Петров разгладил под ремнем гимнастерку, сдвинул на затылок фуражку и сказал:

— А почему бы нам вместе не пойти в парк культуры и отдыха?

Но Катенька оглядела его с фуражки до тапочек и, вздернув носик, сказала:

— Как же я с вами пойду, когда у вас нет ни такого костюма, как у всех, ни таких ботинок, ни такой шляпы?

И она вскочила в трамвай и помахала оттуда своим нежным розовым пальчиком перед своим вздорным девичьим носиком.

А Шурик Петров остался на трамвайной остановке. И пошел домой опечаленный.

Как раз в это время пареньки с нашей улицы шли в Дом культуры на танцы. Увидев, что Шурик Петров опечален, они окружили его и спросили, что с ним случилось.

И он рассказал, что с ним случилось.

— Что ж, — сказал один славный паренек, — правильно отшила тебя Катенька. Ведь тем-то и славятся пареньки с нашей улицы, что все как один. А раз все как один, то и один должен быть как все. Логично?

И так как Шурику Петрову показалось, что это вполне логично, то во вторник он пошел в магазин и вечером шеголял, как и все, в синем костюме, желтых ботинках и фетровой шляпе.

А в среду сходил в Дом культуры и записался в кружок бальных танцев.

А в четверг, как и все, насвистывал новый мотив.

А к пятнице отросли его белокурые волосы, но он не подстриг их под машинку, а зачесал, как и все, набок.

А в субботу он стал так похож на всех других пареньков с нашей улицы, что когда сфотографировал-

ся, то его карточку отдали другому пареньку, и тот думал, что это его карточка, а Шурику Петрову отдали карточку другого паренька, и Шурик Петров думал, что это его карточка.

А в воскресенье он пришел в Дом культуры на танцы.

Танцы еще не начались, но уже гремела радиола, звенели подвески люстр, и зеркала меж колонн отражали белокурых, ясноглазых и веселых пареньков с нашей улицы, которые пришли сюда в своих синих костюмах, полосатых галстуках и желтых ботинках.

Это были славные пареньки, и Шурик Петров глядел на себя и на всех и думал: «Ну где еще есть такие славные, такие дружные пареньки?» И только одно его смущало: он не знал, кто из всех — он. Он искал себя среди всех — и не мог найти, и начал уже беспокоиться, но в это время появилась Катенька, он бросился к ней и схватил ее за руку. И теперь он твердо знал, что он — это тот, кто держит Катеньку за руку.

Это знал он, но этого не знала она.

— Здравствуйте, Катенька, — сказал Шурик Петров, — я так соскучился, я не видел вас целую неделю.

— Почему вы меня не видели, — спросила она, — если каждый вечер мы с вами ходим в парк культуры и отдыха слушать соловьев?

— Нет, Катенька, — сказал он, — вы ошиблись. Я еще ни разу не ходил с вами в парк культуры и отдыха. Но сегодня, если только вы согласитесь, я готов слушать соловьев хоть всю ночь.

— Ну что ж, — сказала она, — когда кончатся танцы, можно пойти и послушать соловьев.

Так они разговаривали, танцуя вальс, фокстрот и польку, а как только кончились танцы, Шурик Петров поспешил в гардероб, чтобы раньше других получить свою шляпу. Но когда он получил свою шляпу, то увидел, что Катенька уже выходит на улицу с белокурым, ясноглазым пареньком в синем костюме, желтых ботинках и фетровой шляпе.

— Пойдите, Катенька! — закричал Шурик Петров. — Вы обещали пойти со мной, а уходите с кем-то другим!

— Почему же с другим? — удивилась она. — Я ухожу с вами.

— Как же со мной? — сказал он, чуть не плача. — Ведь я вот где, а он — это вовсе не я.

И тот паренек подтвердил:

— Конечно, я — это не ты.

— Вот видите, — сказал Шурик Петров. — Он сам говорит, что он — это не я. А кто вас пригласил пойти слушать соловьев?

— Я пригласил, — сказал паренек.

— Нет, я пригласил, — сказал Шурик Петров.

И пока они спорили, вокруг них собрались все другие пареньки с нашей улицы и сказали:

— Да хватит вам спорить. Твоя как фамилия?

— Александр Петров, — сказал Шурик Петров.

— А твоя?

— Петр Александров, — сказал паренек.

— Это кто Петр Александров? — спросила Катенька. — Разве ты Петр Александров? — спросила она у паренька. — Это ты Петр Александров, — сказала она Шурику.

— Нет, я Александр Петров, — сказал Шурик Петров.

— А ну, предъяви паспорт, — потребовали пареньки.

Но пока он искал паспорт, другой паренек увел красавицу Катеньку, и, когда Шурик Петров мрачно сказал, что он не взял с собой паспорта, возле него уже не было Катеньки, а были только славные пареньки с нашей улицы.

— Ну, чего нос повесил? — дружелюбно сказали они. — Выше голову, Петр Александров! Давай пошли домой.

— Я не Петр Александров, — сказал Шурик Петров, — я Александр Петров.

— Брось вкручивать! — сказали они. — Вон где Александр Петров! Его уже и след простыл. Он уже, наверное, целуется с Катенькой в парке. А ты — Петр Александров, так что унывать у тебя, брат, нет никаких причин.

— Как же нет причин, — воскликнул Шурик Петров, — когда я теперь не знаю, кто я?

— Ну и чудак! — сказали пареньки с нашей улицы. — А на что же милиция? В милиции, брат, установят твою личность в два счета. А ну пошли в милицию!

И вышли на площадь.

А на площади в этот час было много народу, — казалось, будто все юноши и девушки, сколько их есть в городе, пришли в эту теплую ночь на площадь к Дому культуры, где желтые фонари трепетали в зеленой листве деревьев.

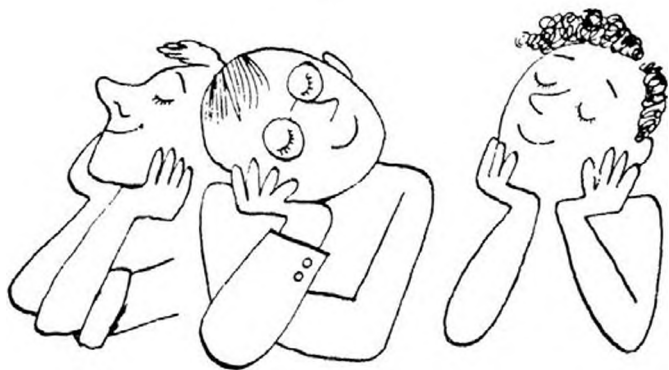
Одни возвращались с танцев, другие — из театра, третьи были в кино, четвертые — просто так, неторопливо гуляли среди веселого и пестрого потока. Все были различно одеты, смеялись разными голосами, напевали разные песни и уже издали узнавали

друг друга, потому что каждый отличался от всех и все отличались от каждого.

Только пареньки с нашей улицы были все как один. И все как один они шли в милицию, чтобы одного отличить от всех.

И вся площадь потешалась над ними.

Пирог с капустой



С тоит мне проглотить кусочек пирога с капустой, как сразу вспоминается отрочество, общежитие и далекий, как небо, потолок с тремя крылатыми и пухлыми амурами. Между ними восседала величественная особа, чуть прикрытая голубой прозрачной рубашкой. За ее громадные размеры и важную осанку мы ее прозвали тетей Настей, как звали нашу

усатую повариху, которая пекла такой пирог с капустой, что просто вспомнить о нем невозможно без душевного волнения.

Что это был за пирог с капустой! Пышный, мягкий, сдобный, с золотистой корочкой, рассыпавшейся раньше, чем прикоснешься к ней зубами, с душистой и сочной капустой, которая таяла во рту, отгоняя всякие мрачные мысли.

Мы так его любили, что нам ничего другого не надо было: ни супа, ни каши, ни котлет, ни чаю.

И когда мы съедали свой кусок пирога с капустой, то даже наш долговязый тихоня и скромник Петя Коржик, вставая из-за стола, говорил мечтательно и проникновенно:

— Ну и пирог был сегодня, ребята! — и его нежные уши пламенели от удовольствия.

А умный Миша, который умел объяснить всё на свете, изрекал:

— Всё ясно, товарищи! Пирог с капустой наиболее соответствует разносторонним потребностям наших молодых организмов.

А горячий и восторженный красавчик Витя восклицал, ероша свои белокурые волосы:

— Если я стану когда-нибудь знаменитостью, братцы, я буду три раза в день есть пирог с капустой. Три раза в день — на завтрак, обед и ужин!

А глупый Ванечка, слушая это, облизывал свои ленивые губы и произносил:

— Хе!

И это могло означать что угодно.

Каждый раз, встречая нашу усатую повариху в кухне, кладовке или в коридоре, красавчик Витя становился перед ней на одно колено, как Ромео перед Джульеттой, и протягивал руки.

— Тетя Настя! — говорил он. — Испеките завтра пирог с капустой!

И она отвечала с высоты своего трехэтажного роста:

— Глупые вы мальчики! Разве я сама не люблю пирога с капустой! Только нельзя же каждый день кормить вас одним и тем же.

Но мы не понимали, почему нельзя.

И однажды во время обеда, когда все мы были в столовой и уже съели щи на первое и нам разносили котлеты с картофельным пюре на второе, Витя вдруг отодвинул стул, встал во весь рост и обратился ко всем с такой речью:

— Ребята! — сказал он. — Не пора ли нам поднять вопрос о пироге с капустой?

И от всех столиков закричали:

— Верно! Давай про пирог с капустой!

— Я хочу спросить, — сказал он, — почему нас нельзя каждый день кормить пирогом с капустой? Животы у нас заболят, что ли?

И от всех столиков кричали:

— Не заболят!

— Или мы растолстеем, как эти амуры на потолке?

И от всех столиков кричали:

— Не растолстеем!

Решение было принято под гул всеобщего одобрения.

Решение гласило: просить тетю Настю ежедневно кормить нас пирогом с капустой.

На следующий день был испечен пирог с капустой.

Что это был за пирог!

Это был не просто пирог с капустой, это было нечто такое сочное, вкусное, пышное, что невозможно выразить простым человеческим словом. Какими тусклыми и жалкими казались слова по сравнению с теми мелкими кусочками крутого яйца, которые попадались в капусте! Разве толстое и ленивое слово «пирог», или деловито-торопливое слово «начинка», или приземистое и хозяйственное — «капуста» могли передать то ощущение, которое можно познать только губами, языком и небом?

— Ура пирогу! — кричали мы после завтрака.

— Слава капусте! — кричали мы после обеда.

— Да здравствует тетя Настя! — кричали мы после ужина, когда она сама вышла из кухни в столовую и остановилась возле двери, большая, тяжелая и гордая, как буфет с посудой.

И на следующий день был пирог с капустой. Правда, корочка была уже не такая золотистая и рассыпчатая, и капуста как будто чуть-чуть недосолена, но всё-таки это был замечательный пирог, и мы ели его да похваливали.

На следующий день нас опять кормили пирогом с капустой. Но это было совсем не то, что прежде. Капуста уже не отгоняла мрачных мыслей, а корочка не рассыпалась, даже когда надкусишь ее зубами.

— Что же это, ребята! — говорил красавчик Витя. — Сколько мы бились, чтобы нас каждый день кормили пирогом с капустой, а когда добились, так пирог стал совсем другим. Как же это так получается, братцы?

А умный Миша сходил в библиотеку, заглянул в энциклопедический словарь на букву «П», прочитал объяснение слова «пирог» и объяснение слова «пища» и, надев очки, потому что, когда на его малень-

ком носике сидели большие очки, его голос звучал более веско и убедительно, вынес такое суждение:

— Всё ясно, товарищи! Процесс пищеварения в нашем трудовом коллективе нарушен! Надо объясниться с тетей Настей!

Объясниться с тетей Настей поручили красавчику Вите.

Он пошел в кухню. Тетя Настя плавала в облаках пара. Он сказал ей так:

— Это довольно стыдно с вашей стороны, тетя Настя! Мы хвалим вас на собраниях, мы пишем о вас в стенгазете, а вы стали печь такой пирог с капустой, что его просто в рот взять невозможно.

Так он говорил, опустив глаза, потому что непристойно юноше, у которого еще не выросли усы, осуждать женщину, у которой уже выросли усы, но когда он поднял глаза, то увидел, что из-за облаков пара тетя Настя насмешливо шевелит своими усами.

— Глупые вы мальчишки, — сказала она, — разве я не стараюсь?.. Уж я так стараюсь, так стараюсь... больше чем прежде.

И громадной красной рукой она продолжала замешивать тесто на завтра.

Но на завтра пирог был еще хуже.

Мы только отведали его по кусочку, как вдруг вскочил Витя и закричал:

— Ребята! Еще слишком свежи в нашей памяти воспоминания о том пироге с капустой, который мы ели раньше, чтобы называть пирогом с капустой эту запеканку с тряпками, которую нам подали сегодня!

— Не надо! — сказал добросердечный Петя Коржик. — Не надо говорить такие слова, — и он поглядел на тетю Настю, которая появилась в дверях, скрестив на могучей груди свои могучие руки. — Хот:

пирог с капустой сегодня действительно несъедобен, — говорил Петя Коржик, — но мы не станем обижать вас, тетя Настя; мы возьмем себя в руки и будем терпеть, и будем есть этот пирог, потому что мы любим и уважаем вас, тетя Настя.

Но красавчик Витя с ним не согласился.

— Нет! — воскликнул он, размахивая вилкой. — Мы не должны терпеть, а должны бороться. И за пирог с капустой мы будем бороться, он стоит того, ребята! — И, обращаясь к тете Насте, он сурово спросил: — Что случилось, тетя Настя? Скажите нам чистосердечно: почему вы разучились печь пирог с капустой?

Мы все молчали, ожидая ответа тети Насти, как вдруг раздался голос умного Миши. Уже давно, надев очки, он рассматривал свой кусок пирога с капустой: корочку отдельно, капусту отдельно. А когда всё рассмотрел, то сказал так:

— Тетя Настя не разучилась печь пирог с капустой. Внимательно рассмотрев тесто и начинку, я пришел к выводу, товарищи, что нынешний пирог ничем не отличается от прежнего. Вот в этом-то всё и дело!

— Хе! — сказал глупый Ванечка.

— Не может быть, — сказал Петя Коржик.

— Всё совершенно ясно, — сказал умный Миша, сверкая очками. — Мы растем, наши потребности растут, а пирог остается таким же, как прежде. Как же он может удовлетворить растущие потребности наших молодых организмов? Предлагаю: отказаться от употребления в пищу пирога с капустой до тех пор, пока тетя Настя не повысит его качества до уровня наших взрослых потребностей. Сколько вам на это надо времени, тетя Настя?

— Месяц, — сказала тетьа Настя. — Месяц, никак не меньше.

И на месяц мы отказались от пирога с капустой.

Это был мрачный месяц. О нем не хочется вспоминать.

Иногда поздно вечером, когда мы укладывались в постель и тушили свет и только уличный фонарь освещал через окно наши полки с книгами, и чернильное пятно на столе, и футбольный мяч, закатившийся в угол, красавчик Витя поднимал голову и тихо спрашивал:

— Предадимся?

— Предадимся! — отвечал Петя Коржик и садился на своей кровати, обняв острые коленки.

— Предадимся! — говорил умный Миша, надевая очки.

И даже глупый Ванечка ворочался под одеялом.

И мы предавались незабываемым воспоминаниям о нашем прежнем пироге с капустой, о его золотистой корочке и сочной начинке, перед которыми меркнут все другие воспоминания отрочества.

Так шли день за днем и неделя за неделей.

И наконец наступил тот долгожданный день, когда тетьа Настя вошла в столовую и на высоте ее третьего этажа, в могучих руках с засученными рукавами, был громадный пирог с капустой. И уже по одному тому, как горделиво она шевелила усами, мы поняли, что за этот пирог с капустой тете Насте не придется краснеть.

И мы не обманулись.

Стоило нам только отведать его, как мы убедились, что золотистая корочка рассыпается раньше, чем прикоснешься к ней зубами, а душистая и сочная капуста тает во рту, отгоняя всякие мрачные мысли.

— Ну и пирог с капустой был сегодня, ребята! — мечтательно и проникновенно сказал Петя Коржик, вставая из-за стола.

А умный Миша, который умел объяснить всё на свете, надел очки и произнес такую речь:

— Всё совершенно ясно. Тетя Настя учла наши критические замечания. Тетя Настя повысила качество пирога до уровня наших возросших потребностей. И скажем тете Насте за это спасибо, ребята!

И мы сказали тете Насте: «Спасибо!»

Мой друг
Лёня Выюшкин



На нашей улице живет немало злых собак и разнузданных хулиганов. Они, как известно, не обладают ни ясным разумом, ни нравственными принципами, ни глубоким интеллектом. Поэтому им ничего не стоит без всякого повода наброситься на прохожего с лаем или бранью.

А Лёня Выюшкин, друг моей далекой юности, нынче ставший неплохим писателем, обладал ясным

разумом, твердыми нравственными принципами и глубоким интеллектом. Он был высокий и красивый парень с русым чубом, а глаза у него были детские — простодушные и доверчивые. И что бы он ни делал: стоял ли за станком в своей выцветшей гимнастерке, или шел после работы в университет с книжками в руках, или читал нам свои стихи, или танцевал с девушкой в клубе, — он вглядывался во всё с таким вниманием, будто вокруг него не было ничего случайного и незначительного, а решительно всё было чрезвычайно важным и значительным.

Помню даже, что умный Миша, который уже с самого раннего детства знал всё на свете и мог ответить на любой вопрос, как-то сказал Лене Вьюшкину:

— Видно, что недалекий ты человек, Леня Вьюшкин, если не умеешь отличить важное от неважного, значительное от незначительного и того, что заслуживает внимания, от того, что не заслуживает его. Брал бы ты пример с меня: я хоть и не учусь в университете, но прекрасно понимаю, что важным следует считать только то, что действительно важно, к незначительному не надо относиться, как к значительному, а смотреть стоит не на всё, что попало, а только на то, что заслуживает внимания.

Но Леня Вьюшкин ничего не ответил на это умному Мише, только посмотрел на него своими доверчивыми глазами так, будто тот сказал что-то очень важное и заслуживающее внимания.

Вот какой странный парень был наш Леня Вьюшкин. И когда, бывало, поздним вечером, возвращаясь из клуба или кино, мы встречали пьяных хулиганов, и они приставали к нам, пытаясь затеять драку, и у

нас уже чесались руки, чтобы всыпать им по первое число, Леня Вьюшкин останавливал нас такими словами:

— Пойдите, ребята! Они хотят с нами драться потому, что они пьяные хулиганы, — это мне понятно. Но ведь мы с вами не хулиганы и не пьяные, зачем же мы будем драться? Давайте лучше попробуем поговорить с ними по-хорошему.

И он никогда ни с кем не дрался, пытаясь на всех воздействовать своим личным примером и разумными доводами. И если иной раз злая собака, сорвавшись с цепи, выскакивала из подворотни и бросалась на него с отчаянным лаем, норовя схватить его за ногу, то он останавливался перед ней, исполненный чувства превосходства человека над собакой, и старался убедить собаку, что у нее нет решительно никаких причин относиться к нему враждебно.

А собака в это время рвала в клочья его брюки.

И все ребята с нашей улицы потешались над ним.

— Ну и чудак ты, парень, — говорил умный Миша, — разве так надо обращаться с собаками?

— Нет, наверно, не так, — печально отвечал Леня Вьюшкин.

— Разве ты не видишь, что твой личный пример и разумные доводы на собак не действуют?

— Вижу, — отвечал Леня Вьюшкин, зашивая порванные брюки. — Теперь я и сам убедился, что с собаками надо обращаться иначе.

И он стал обращаться с собаками иначе: заметив собаку, он спешил поскорей перейти на другую сторону улицы или шмыгнуть за угол.

Но, видя, что он убегает от собаки, ребята потешались над ним еще больше.

— Ну и трусливый ты парень, — говорил умный Миша, — просто позоришь всю нашу улицу. Такой большой и сильный, а не можешь справиться с какой-то собакой!

— А как с ней справиться, научи! — просил Леня Выюшкин. — Ведь не бросаться же мне на нее, как она бросается на меня?

— А почему бы и нет, если к этому принуждают обстоятельства? — говорил умный Миша.

— Потому что я не собака, чтобы грызться с собаками, — отвечал Леня Выюшкин, — потому что я человек и не хочу унижать своего человеческого достоинства.

— Какое же у тебя достоинство, если даже собаки тебя не боятся! — смеялся умный Миша. — Раз ты человек, то все собаки должны тебя бояться, а если ты от них убегаешь, то этим ты действительно унижаешь свое человеческое достоинство.

И так как умный Миша объяснял это весьма толково, и все ребята вполне соглашались с ним, и ребят на нашей улице было много, а Леня Выюшкин один, и ему очень не хотелось унижать свое человеческое достоинство, то постепенно он, не хуже других, научился обращаться с разнузданными хулиганами и злыми собаками.

Теперь стоит только собаке выскочить из подворотни, как он швыряет на землю свои стихи, и университетский значок, и ясный разум, и нравственные принципы, и глубокий интеллект, и, став на четвереньки, бросается к собаке и тоже лает на нее, и норовит схватить ее зубами за лапу, так что иногда ему удаается даже вырвать у нее клок шерсти, и тогда собака убегает, поджав хвост и жалобно скуля.

А умный Миша говорит ему:

— Вот теперь ты научился обращаться с собаками, теперь ты не уронил своего человеческого достоинства.

И все ребята с нашей улицы глядят на Леню Вьюшкина с уважением.

А он, смущенно пряча от нас доверчивые глаза, подбирает с земли свой ясный разум, и нравственные принципы, и глубокий интеллект, и стихи, и университетский значок, — и идет дальше по своим разумным, нравственным и интеллектуальным делам.

А я так и не научился обращаться с собаками и, заметив собаку, стараюсь перейти поскорей на другую сторону улицы или шмыгнуть за угол. И если даже все ребята с нашей улицы будут улюлюкать мне вслед, и если даже собаки всей стаей бросятся на меня, чтобы перегрызть мне горло, я всё-таки не стану на четвереньки, и не залаю по-собачьи, и предпочту лучше умереть как человек, чем грызться с собаками как собака.



— Так ты хочешь умереть как человек? — тихо спросил меня Леня Вьюшкин, выслушав эту недобрую сказку.

— Нет, я хочу жить как человек, — ответил я снисходительно.

Он с тревожным вниманием смотрел на меня своими доверчивыми глазами.

— Так ты хочешь жить как человек? — глухо повторил он и долго молчал, о чем-то думая. Только изредка, услышав злое рычание собак, выглядывавших из подворотен, он и сам угрожающе рычал, оскалив зубы, и тогда собаки, поджав хвосты, прятались

обратно в подворотни. — Ну что ж, — сказал он с горечью, — пусть будет так. Я буду жить как собака, чтобы ты мог жить как человек.

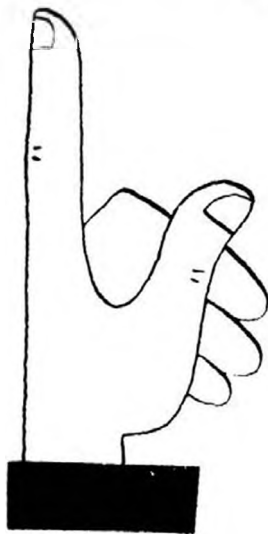
И он пошел от меня походкой сильного, красивого, уверенного в себе человека, а я, пугливо поглядывая в подворотни, стоял как жалкая побитая собака.



— Ну, и что же ты этим хочешь сказать? — спросил меня умный Миша, выслушав эту грустную сказку. — Кто же из вас, по-твоему, прав, ты или он?

Но я не знаю, что на это ответить, и я не знаю, кто из нас прав, и долгие-долгие ночи я провожу без сна, прислушиваясь к яростному лаю собак, и сердце мое отзывается на него горькой болью. И я не могу уснуть, и мечусь по комнате, не находя себе места. И стучу в твою дверь, и бужу тебя, и прошу: помоги мне своим добрым и умным словом, мой неведомый друг — читатель.

Пять пальцев



На моей руке живут пять пальцев. Это очень беспокойные пальцы. Я не могу ни на минуту оставить их без присмотра, чтобы они не повздорили между собой или не натворили какой-нибудь беды. Сколько раз я просыпался среди ночи, чувствуя странное движение на своей руке, и видел, что пальцы толкаются и пинают друг друга.

— Чего разлегся, как барин! — кричал Указательный палец и давал подзатыльник Среднему.

— Куда же мне деваться? — с достоинством спрашивал Средний, подвигаясь поближе к Безымянному.

Но мой Безымянный палец ужасный фронт и чи-стюля.

— Не приближайся ко мне, — говорил он брезгливо, — ведь на тебе чернила.

А Мизинец смеялся, как будто его щекотали, и пищал:

— Ой, сейчас вы меня совсем столкнете с ладони!

Так они возились, пока я не сжимал их в кулак.

А однажды я проснулся от короткой и острой боли. «Что за черт, — подумал я, — обо что я мог уколоться?»

Пальцы тихонько лежали под одеялом, тесно прижимаясь друг к другу и прикидываясь спящими. Но я чувствовал, что они не спят, а Указательный всё ворочался и ворочался, будто не мог найти себе места.

— Ну что, бродяга, — сказал я ему, — обо что ты укололся?

— Сам не знаю, — ответил он виноватым и лживым тоном. — Наверно, в постель попала иголка.

Я зажег свет, осмотрел простыню и одеяло, но ничего не нашел. И вдруг обратил внимание на тумбочку, стоявшую возле кровати. На ней острием вверх лежала канцелярская кнопка.

— Ты лазал туда? — спросил я у пальца.

Он отогнул кверху свой кончик и смело поглядел мне в глаза.

— Да, — сказал он, — простите. Мне вдруг очень захотелось побродить одному. Ведь я еще никогда в жизни ничего не предпринимал самостоятельно. И я

решил попробовать. Я вылез из-под одеяла. В полной темноте. Сердце так ужасно билось. Но я всё полз, пока не очутился на краю кровати. Остальные пальцы отговаривали меня, они тянули меня назад, они цеплялись за простыню, но я всё-таки перебрался на тумбочку. У меня закружилась голова от счастья: я мог делать что хочу. Вы крепко спали и ничего не чувствовали. Я мог потрогать лампу, перевернуть страницу книги, сдвинуть коробок спичек. Я даже мог, если бы захотел, спрятаться от вас под кровать. Пальцы уговаривали меня: «Скорее лезь обратно, а то он ужасно рассердится». Но я говорил, что вы не рассердитесь, наоборот, вы очень обрадуетесь, когда узнаете, что у вас есть такой самостоятельный палец. Представьте себе, что все ваши пальцы станут такими же, тогда вы будете спать, или читать книгу, или сидеть в кино, а мы в это время сможем сами что-нибудь делать. Ну, например, пришьем пуговицу или напишем сказку...

Он стоял передо мной, такой маленький, доверчивый и счастливый, что я не мог на него рассердиться.

— Ты славный палец, — сказал я, слизнув с него капельку крови. — Я очень рад, что на этот раз ты отделался только легким уколom, но я совсем не желаю когда-нибудь лишиться такого смелого пальца.

Поговорив так со своим пальцем, я снова потушил свет, и мы проспали до утра.

На следующий день, читая книгу, я заметил, что мои пальцы, думая, будто я не обращаю на них внимания, вели между собой странный разговор.

— Этой ночью, ребята, я понял, — говорил Указательный палец, — что пальцы вовсе не так уж зависят от человека.

Безымянный, старавшийся в это время разглядеть свое отражение в стеклянной чернильнице, сказал легкомысленно и небрежно:

— Мы зависим от него не больше, чем он от нас. Интересно, что бы он стал делать, если бы мы откалзались умывать ему лицо и расчесывать волосы?

— Послушать вас, просто уши вянут, — вмешался толстяк Большой палец. — Если бы у вас под ногтями была хоть капля разума, так вы не воображали бы о себе, а понимали, что мы — это только конечности человека, и всё, и не о чем говорить.

Тут вступил в разговор Средний палец. Он перелистал за мою жизнь столько разных книг, что был весьма раздумчивым пальцем.

— А вам, ребята, никогда не приходило в голову, — спросил он, — как поступает человек в темноте? Он протягивает вперед руку, а рука протягивает пальцы. И мы ведем за собой человека.

Эта мысль была такой ошеломляющей, что все пальцы растопырились от удивления.

— Именно так! — закричал Указательный. — Мы ведем его за собой.

Мизинец был очень доволен.

— Вот так да! — смеялся он. — Кто бы мог подумать, что я веду за собой человека, да еще такого, который пишет сказки!

— Кто пишет сказки? — удивился Средний палец. — Разве он пишет сказки? Он сочиняет их, с этим я спорить не буду, но пишем-то всё-таки мы!

А Большой палец, этот толстобрюхий наглец, подтвердил:

— Это верно, пишем-то мы. Вон и сейчас еще у меня вся морда в чернилах!

Средний палец сказал:

— Так давайте сделаем вывод: мы имеем такое же право на независимость, как и сам человек.

— А зачем нам независимость? — спросил Большой палец. — Что нам с ней делать?

— О, независимость! — воскликнул Указательный. — Я бы знал, что с ней делать!

Безымянный мечтал:

— Я бы сделал маникюр. Я бы покрыл свой ноготь лаком. Я бы купил перстень.

— Тьфу, — сказал толстяк, — просто противно слушать.

Но за Безымянный вступился Средний.

— Ты зря на него нападаешь. Ведь только для того и нужна независимость, чтобы делать всё, что мы пожелаем, — говорил он. — Захотим — будем делать маникюр, захотим — будем щипаться, захотим — чесаться. А если вдруг нам придет в голову устроить комбинацию из трех пальцев, так пожалуйста! Всё в наших руках!

— Это, конечно, очень заманчиво — делать всё, что вздумается, — сказал Большой палец, — но ведь это бесплодные мечты.

— Как сказать! — ответил Средний. — Если человеку объяснить как следует...

— А что? Может, попробуем? — перебил Указательный палец. — Давай, братишка, ты у нас такой начитанный, действуй!

И Средний палец стал действовать.

Для разговора со мной он выбрал такое время, когда я заканчивал одну из своих сказок. В этой сказке я, подобно другим писателям, довольно красноречиво рассуждал о независимости личности. Мне оставалось дописать только страницу, и я торопливо набрасывал строку за строкой, как вдруг Большой,

Указательный и Средний пальцы, державшие перо, разогнулись, и перо выпало из руки, расплеская на бумаге кляксу.

— В чем дело, ребята? — спросил я.

Сначала мне никто не ответил. Большой палец, тяжело вздохнув, сделал какой-то знак Безмянному и Мизинцу, и все три пальца уткнулись в ладонь. Только Средний и Указательный стояли, не сгибая суставы, еще вымазанные после работы чернилами, взволнованные и бесстрашные.

— Ну? — спросил я у них.

Средний палец ответил:

— Ваша сказка почти дописана. А для чего? Разве она может принести кому-нибудь независимость?

— Нет, — сказал я, — но она может пробудить стремление к независимости.

Он спросил:

— А стремление к независимости — это такое же благо, как и сама независимость?

Черт возьми! Ну что на это ответишь? Не дай бог никому иметь на своей руке такой рассудительный палец.

Он смотрел на меня, как мне показалось, с усмешкой, этот маленький дьявол с чернильным пятном на боку.

— Чего вы хотите от меня? — спросил я.

Он сказал с достоинством:

— Независимости!

— Независимости! — восторженно повторил Указательный.

Мизинец, сгорая от любопытства, на секунду поднял свой розовый смешливый кончик, взглянул на меня и сразу же опять свернулся колечком.

Пальцы ждали моего решения. Я разглядывал их, моих разумных помощников, моих маленьких верных товарищей, с ногтями, обкусанными в часы раздумий и неудач. Я вспоминал всю нашу совместную жизнь: когда мне было плохо — и им плохо; когда мне хорошо — и им хорошо. Я делился с ними всеми горестями и всеми благами. Как же я мог отказать им в том, что имел сам, — в независимости?

И я махнул рукой:

— Валяйте!

— Ура! — закричал Указательный. — Разогните спины, братишки! Больше мы не зависим от человека. Он сам по себе, а мы сами по себе.

Безымянный палец плакал от счастья. Средний бросился на грудь Большому. Мизинец отплясывал какой-то лихой танец. Указательный крикнул:

— А ну, ребята, щелчок в его честь!

И щелчок в мою честь прозвучал как салют.

Я подумал: «Так уж и быть, пусть этот день станет для них праздником. Сказку я допишу завтра, а сегодня не возьму в руки ни пера, ни книги — дам пальцам полный отдых: пойду гулять».

И вышел на улицу.

Мои пальцы выделяли черт знает что: они сжимались, разжимались, растопыривались, дергались, показывали прохожим фигу. А на углу Невского проспекта и Садовой улицы, в самом людном месте города, вдруг залезли за вырез рубашки и стали почесывать меня под лопаткой.

— Ну как же так, — уговаривал я их, — что вы, ребята, со мной делаете? Полезайте лучше в карман.

— Какая же в кармане независимость? — хохотал Мизинец.

А Указательный палец сказал:

— Нет уж, спасибо! Теперь вы в свой карман меня не заманите. Лучше я залезу в карман вон того прохожего. — И он весело потянулся к карману какого-то толстенького человечка, важно шествовавшего под соломенной шляпой.

Я закричал:

— Назад! Сейчас же назад!

Но он уже уцепился за чужой карман, а меня успокаивал:

— Мы только заглянем туда. Мы ничего не возьмем. Чего вы волнуетесь?

Я отдернул руку и отскочил от прохожего, чуть не сбив с ног какую-то милую девушку, которая с тяжелой кошелькой, по-видимому, возвращалась из магазина.

— Ах, извините, пожалуйста, — сказал я ей и в это время услышал голос своего Безымянного пальца.

— Какие пальчики! — воскликнул он. — Боже мой, какие пальчики!

И все мои пять пальцев стиснули нежные пальчики девушки.

Девушка закричала:

— Нахал! Как вам не стыдно?

Я закричал:

— Хулиганы! Сейчас же отпустите ее руку!

Где тут! Мой Безымянный палец уже обвился вокруг девичьего мизинчика. Большой палец прижался своим толстым брюхом к указательному пальчику девушки. И даже Мизинец, мой наивный малыш Мизинец, не желая отставать от других, игриво щекотал девичью ладонь.

Я опять отдернул руку, но мои пальцы не выпустили пальчиков разгневанной девушки. Ее кошелка метнулась над моей головой, и крупные картофелины посыпались на меня, как камни.

— Так его! — кричали прохожие. — Так его, нахала, чтобы рукам волю не давал!

Я потерял очки. Я не стал их искать. Я побежал прочь. Стыд и ужас бежали за мной. Я вскочил в трамвай, отдышался и только тогда сказал своим пальцам тихо, чтобы не слышали другие пассажиры:

— Ну, знаете... это черт знает что. Всё-таки вы должны хоть немного считаться со мной.

— Почему? — вызывающе спросил Средний палец. — Разве вы считаетесь с нами, когда знакомитесь с девушками?

— Тише, — сказал я, — мы в трамвае. Что подумают люди?

Но Большой палец орал на весь вагон:

— Наплевать на людей! Я только успел прижаться к тому пальчику, как вы меня от него оторвали...

Я не знал, куда деться от стыда. Заметив, что трамвай остановился, я стал протискиваться к выходу. Я умолял свои пальцы:

— Ну, пожалуйста! Ну, не надо! Не устраивайте скандала!

— Знаете что? — сказал Средний палец. — Мы вас не держим. Если вам не нравится наше поведение, так можете выйти на этой остановке, а мы поедem дальше.

Я уже был на площадке. Трамвай тронулся. Я на ходу выскочил из вагона. Но оторвать свои пальцы от поручня не мог.

— Скатертью дорога! — крикнул мне Указательный и обернулся к другим пальцам: — Держитесь, ребята! Держитесь крепче!

Трамвай набирал скорость. Пальцы крепко вцепились в поручень. Безымянный увидел, что я бегу рядом с вагоном, и нетерпеливо крикнул:

— Да отцспись наконец! Вот навязался на нашу голову!

Но я не мог отцспиться от своих пальцев. Я бежал и кричал. И даже когда споткнулся, то не мог отпустить поручень.

Трамвай остановили. Мне помогли подняться и оторвали от поручня мои пальцы.

Пошатываясь, я побрел к панели. Я был так напуган происшедшим, так обижен на свои пальцы и так слаб, что, добравшись до ступенек ближайшей парадной, сел там передохнуть.

Я вытер со лба пот и подумал: «В жизни не слышал ничего подобного!»

Пальцы лежали на моих коленях, враждебные и молчаливые.

Я думал: «Что мне делать со своими пальцами?»

Наверное, я думал вслух, потому что Средний палец ответил:

— Давай расстанемся мирно. Ведь живут же люди без пальцев.

Я сказал:

— Но пальцы без людей не живут.

В разговор вмешался Указательный.

— Это мы еще увидим, — ответил он с наглой насмешкой.

Люди! Вы тоже имеете пальцы. Я обращаюсь к вам. Вы поймете. Я не мог поступить иначе. Я крикнул:

— В карман, негодяи!

— Черта с два! — ответил Указательный палец и стал изгибаться, как припадочный.

— В кулак, проходимцы! — кричал я, потеряв самообладание. Но на помощь Указательному уже

пришел Большой. Он принял вызывающую позу и насмешливо говорил:

— А ну сожми, попробуй!

И не успел я сжать пальцы в кулак, как они набросились на меня всей пятерней. Они рвали мои волосы, щелкали меня по лбу, шипали и царапали до крови. А прохожие, видя, что на ступеньках сидит человек и собственной рукой раздирает свое лицо, сочувственно говорили:

— Вот надрался, бедняга!

Только с помощью левой руки мне удалось сжать в кулак пальцы правой руки и запихать их в карман.

Исцарапанный и усталый, придавив левой рукой правый карман, я побрел домой.

Сначала я был слишком возбужден, чтобы прислушиваться к разговору пальцев в кармане. Да они, наверное, и не сразу начали разговаривать. Но, свернув с шумного Невского на свою тихую улицу, я различил в кармане шепот.

Я остановился. Затаил дыхание. И вот что услышал:

— В крайнем случае, можно попробовать выпрыгнуть в форточку утром, когда он будет проветривать комнату, — сказал Указательный палец.

— А если поймает? — спросил Безымянный.

— Тогда лучше ногтем под нож, чем опять в карман, — ответил Указательный.

— А я, ребята, всё обдумал и решил так, — сказал Большой палец: — вы бегите, а я останусь. Я вовсе не уверен, что без руки нам будет лучше, чем на руке. А потом — перчатка! Как же мы оставим здесь перчатку? Что мы будем делать зимой без перчатки?

— Негодяй! — сказал Указательный палец. — Мы потащим тебя силой. Не оставаться же всем из-за одного?

— Так это что же выходит, ребята? — с недоумением спросил Большой палец. — Раньше я зависел от него, а теперь завишу от вас. Какая же для меня разница?

— Очень большая разница, — объяснил Средний палец. — Если многие зависят от одного — это одно, а если один зависит от многих — это другое. А ты говоришь: нет разницы!

«Плохо дело, — думал я, — вон какие у них планы!»

Чтобы попасть в мою квартиру, надо открыть французский замок. Я хотел это сделать левой рукой, но не сумел. Тогда я наклонился к своему карману и спросил:

— Ну как, бандиты, откроете дверь? Или я сяду здесь на лестнице и буду ждать, пока кто-нибудь придет мне на помощь?

Пальцы пошептались. Ответил Средний палец:

— Откроем.

Я вынул кулак из кармана. Бледные, одеревеневшие пальцы еле двигались. Они чуть не выронили ключ. Дверь открылась.

«Слава богу! — подумал я. — Наконец-то я дома вместе со своими пальцами!»

Я захлопнул за собой дверь и в тот же миг услышал:

— Прощайте!

И почувствовал, что пальцы остались на лестнице. С воплем толкнул я дверь обратно и втащил в квартиру свои полумертвые от боли пальцы.

Отчаянно кричал Мизинец.

— Ой, умираю! — кричал он. — Доктора мне! Умираю!

Безымянный тихо стонал. Средний был без сознания. Большой палец ревел на весь дом. Указательный молчал, стиснув зубы.

В эту ночь я долго не мог заснуть. В комнате было темно и тихо. Пальцы успокоились, они лежали рядом с моей головой на подушке, покорные и жалкие. Только иногда что-то бормотал во сне Мизинец.

И вдруг я услышал шепот:

— Вы не спите?

Кончик Указательного пальца коснулся моего лица.

Я повернул голову и в полумраке увидел его беспомощный ноготь.

— Вот лежу и думаю, и ничего не могу понять, — сказал он. — Зачем вы обманывали нас, сказав, что даете нам независимость? Разве такими вещами шутят? — И он заплакал с мучительной обидой и горьким доверием.

— Не надо плакать, — сказал я. — Не надо плакать, дружок. Ты же видишь, я тоже завишу от вас — так же, как вы зависите от меня. Мы все зависим друг от друга, и с этим уж ничего не поделаешь. — Так я говорил своему маленькому и смелому товарищу, и мне было очень жалко его, и я тоже чувствовал себя пальцем, своим собственным пальцем на собственной руке.



Никите Мудрейко еще не было девятнадцати лет, но все другие предпосылки, чтобы стать выдающимся философом, у него уже были. Главная из этих предпосылок заключалась в том, что за девушками он не ухаживал, на коньках не катался, комнату за собой не убирал, танцевать не умел, в кино и театр

не ходил, а ходил только на лекции, читал лишь научные книги и размышлял исключительно о таких предметах, которые имеют значение для всего человечества, например о том, есть ли жизнь на других планетах, или — можно ли сделать кибернетического человека.

Размышляя о подобных вопросах, он нередко опаздывал на работу, знакомых принимал за незнакомых, а незнакомых принимал за знакомых.

Волосы у Никиты Мудрейко были всегда растрепаны, уши торчали, как раскрытые окна, а его длинная худая фигура отличалась одной весьма странной особенностью: что бы он ни надел на себя, всё оказывалось ему не по росту — или слишком коротким, или слишком широким. Но он не обращал на это никакого внимания, и если мы спрашивали у него: «Не перешить ли тебе, Мудрейко, пиджак?» или «Не пора ли тебе, Мудрейко, в баню?», он смотрел на нас сквозь свои очки как на сумасшедших и отвечал: «Просто я удивляюсь вам, ребята! Ну как вы можете говорить о бане, когда я размышляю сейчас о кибернетическом человеке?»

Но мы говорили ему о бане до тех пор, пока он всё-таки не сходил в баню.

А в бане случилось вот что.

Сняв майку и трусики и намылив шею, грудь и бока, он вдруг заметил на своем животе пуп.

До сих пор он своего пупа не замечал и даже не подозревал о его существовании, так как в баню ходил редко, а приходя в баню, размышлял только о таких предметах, которые имеют значение для всего человечества.

А его пуп, как известно, никакого значения для всего человечества не имел.

Заметив свой пуп, Никита Мудрейко был чрезвычайно удивлен, и, забыв, что вода в шайке остывает, он сбегал в раздевалку за очками и стал рассматривать свое открытие, дивясь его странным очертаниям.

Он сидел на мокрой скамье, голый, костлявый и намыленный, рассматривал свой пуп сверху, заглядывал на него справа и слева, и чем больше он его рассматривал, тем больше дивился тому, что у него есть пуп.

Он вернулся домой весь в мыле, и мы еще не успели сказать ему: «С легким паром!», как он воскликнул:

— Знаете, ребята, у меня есть пуп!

— Пуп? — спросили мы.

— Честное слово, пуп, — сказал он. — Не верите? Хотите, покажу? — И он стал задирать майку, чтобы показать нам свой пуп.

— Почему же не поверить, — сказали мы, — вполне вероятно. Только что из того?

— Как что из того? — спросил он пораженный. — Если бы вы только видели, какой у меня пуп: маленький, кругленький, как пуговка.

— Пуп как пуп, — сказали мы. — Ложись-ка, брат, спать!

Но он не лег спать, а полночи шагал по комнате в майке и трусиках, длинноногий, растрепанный и взволнованный, и всё поглядывал на свой пуп, как бы желая убедиться, что его пуп никуда не делся.

А утром Никиты Мудрейко было не добудиться. Но как только он проснулся, так сразу же опять стал показывать нам пуп и очень обижался, что мы спешим на работу и не обращаем на его пуп никакого внимания.

Весь день он говорил только о своем пупе и всем рассказывал, какой у него интересный маленький пуп, и когда после работы мы позвали его с собой на лекцию о том, есть ли жизнь на других планетах, он долго смотрел на нас как на сумасшедших, а потом сказал:

— Просто я удивляюсь вам, ребята! Ну как я могу сейчас думать о других планетах, когда на своем животе обнаружил пуп!

Вернувшись домой, мы рассказали ему, что после лекции нам показали научно-популярный фильм, и это был такой интересный фильм, что мы охотно посмотрели бы его еще раз. Но Никита Мудрейко сказал:

— Ну, ваш фильм не интереснее, чем мой пуп. Вы лучше посмотрите еще раз на мой пуп.

А на следующее утро, собираясь на работу, мы спросили у него, почему он повязывает свой шарф вокруг живота, а не вокруг шеи, но он опять посмотрел на нас как на сумасшедших и ответил:

— Просто удивительно, как вы сами не понимаете. Вы что, забыли, что у меня есть пуп? Долго ли его простудить?

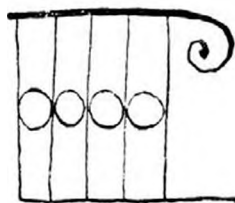
И так нам надоело слушать про его пуп, что мы сказали:

— Ну что ты всё про пуп да про пуп, как будто только у тебя одного и есть пуп!

— Как? — спросил он, смертельно побледнев. — Разве у кого-нибудь еще есть пуп?

И он долго не хотел верить этому, и только вечером, когда мы укладывались спать и, задрав майки, показали, что у каждого из нас есть по такому же пупу, как и у него, он поверил и впал в такое уныние, будто мы отняли у него его собственный пуп.

Андрей
Хижина



и
его
горе



Был у меня товарищ Андрей Хижина. Подводный инженер. Он имел квартиру из двух комнат, кухни, ванной и прихожей. В одной комнате жил он сам с Варенькой. В другой — его дядя Кузьма Кузьмич.

Каждое утро Андрей Хижина уезжал к берегу моря, где строился подводный завод. Работы у него

было много, а после работы он еще учился, и домой возвращался очень поздно.

Он ехал домой в автобусе, а от автобусной остановки бежал бегом — так не терпелось ему поскорей увидеть свою Вареньку. Он бежал по улице, как спортсмен, — загорелый, белозубый и ловкий, и, врываясь в квартиру как ветер, подхватывал Вареньку на руки.

И он всегда приносил с собой букетик цветов, или кулечек конфет, или какой-нибудь забавный подарок со дна моря.

Варенька была такая маленькая и худенькая, что в трамвае у нее спрашивали:

— Девочка, ты выходишь на этой остановке?

Но она была уже не девочкой. Она тоже работала и училась, и когда приходила домой, то сразу начинали хлопать все двери в квартире, греметь все кастрюльки в кухне, звонил телефон в прихожей, включалось радио в комнате и все предметы вдруг обретали голос и движение.

— Ведь это только подумать... — говорил Андрей Хижина. — Двадцать шесть лет я ходил по тем же улицам, по которым ходила ты, ездил в тех же трамваях и автобусах, в которых ездила ты, забегал в те же магазины, в которые забегала ты, и, наверное, я не раз встречал тебя, даже не догадываясь, что ты — это ты!

И они оба смеялись, так это казалось им невероятно.

И хотя он говорил это каждый вечер уже два года, но Варенька слушала его с таким интересом, будто он говорил это первый раз.

А утром Андрей Хижина снова спешил к берегу моря. Он ехал к морю в автобусе, но до автобусной

остановки бежал бегом — так не терпелось ему поскорей увидеть свой подводный завод.

После него уходила на службу Варенька.

И дома оставался один дядя.

— Ну, наконец-то! — говорил он. — Слава богу! Теперь хоть можно подремать спокойно.

Весь день он лежал в своей комнате на продавленном диване, небритый и сонный, в мятых брюках и отвислых подтяжках.

Иногда вечером Андрей Хижина встречал своего дядю в кухне.

— Ну как, дядя, — спрашивал он, — всё еще не надумал идти работать?

— Как же! Надумаешь! Даст твоя супруга подумать! — ворчливо отвечал дядя. — Тут не только подумать — подремать не приходится. То она затеет мыть пол, то говорит по телефону, то к ней придут подруги. Никакого от нее покоя!

И, шлепая домашними туфлями, дядя' поскорей уходил к себе, ложился на продавленный диван, закуривал и размышлял: что бы еще такое сказать про Вареньку, которую он терпеть не мог, даже не здоровался с нею, когда они встречались.

Так жили в одной квартире Андрей Хижина, Варенька и дядя Кузьма Кузьмич.

Однажды в осенний ветреный день Варенька простудилась и заболела. Приехала неотложная помощь, впрыснули Вареньке лекарство и сказали, что надо ее отвезти в больницу.

Она лежала на кровати, маленькая и беспомощная, как подбитая птичка. Не хлопали двери. Не гремели кастрюльки. Не звонил телефон. Молчало радио.

А по лестнице поднималось Горе.

Оно останавливалось на каждой площадке и взглядывалось в номера квартир.

Лестница была ярко освещена, но когда Горе выходило на площадку, электрическая лампочка меркла и светила вполнакала, — и номера квартир разглядеть было трудно.

Горе было неопределенного пола, высокое и строгое, в старой шляпе с большими полями, в широком и длинном пальто. Из глубоких темных впадин глядели красивые и грустные глаза.

Горе остановилось у квартиры номер шестнадцать, прислушалось и открыло дверь.

Оно вошло не позвонив, не постучав, не спросив разрешения.

В прихожей оно сняло галоши и поставило в угол зонтик.

Андрей Хижина был возле Вареньки. Горе встало за ним.

Оно стояло за его спиной, наклонялось вперед, когда наклонялся он, отступало назад, когда отступал он, ходило по комнате, когда ходил он. Оно ехало вместе с ним в машине, вошло в приемный покой, и когда он взял в свои руки маленькие, горячие и вялые ручки Вареньки, Горе так стиснуло его плечи, что он чуть не вскрикнул от боли.

Андрей Хижина вернулся домой. Вместе с ним вернулось и Горе. Было уже поздно. За окном метался ветер, гнул деревья и раскачивал фонари.

Андрей Хижина не зажег света. Он опустился на стул. Горе стояло за его спиной, обнимало его плечи, давило на них, и он склонялся всё ниже и ниже.

— Ну, поплачь, поплачь, сынок! — шептало Горе. — Как тихо стало в коридоре. Как пусто и холодно стало в квартире...

Так прошло время до самого рассвета. До рассвета сидел Андрей Хижина в темной комнате, стиснутый и придавленный Горем. А когда наступил рассвет и во мраке комнаты стали рождаться предметы, он поднялся и надел пиджак.

И Горе спросило:

— Куда ты?

— На работу, — сказал он. — Мы будем сегодня устанавливать опорные фермы.

— Не пуцу, — сказала Горе. — Какие там фермы, когда у тебя горе?

— Нет, я пойду, — сказал он.

— Нет, не пойдешь, — сказала Горе. — Или ты уже забыл свою Вареньку, как она лежала на кровати, маленькая и беспомощная, похожая на подбитую птичку?

— Я не забыл ее, — сказал Андрей Хижина, — но я должен идти. — И он повел плечом, чтобы освободиться от цепкой руки Гора.

— Ну что ж, — сказала Горе, — раз должен, так иди, только и я пойду с тобой.

— Нет, — сказал он, — ты будешь мешать мне. Да тебя и не пустят туда без пропуска.

— Меня? — усмехнулось Горе. — Меня всюду пускают без пропуска.

Но он осторожно отстранил свое Горе, усадил его в кресло у окна и, сунув ему в руки первую попавшуюся книгу, чтобы не скучало, ушел из дому.

И Горе осталось одно.

Оно полистало книгу, потом поднялось с кресла, побродило по комнате, включило радио, поглядело фотографии, развешанные на стене; ему стало скучно. Оно всё видело, всё знало, и ничто не могло привлечь его. И, поскучав с полчаса, Горе надело в

прихожей галоши, взяло зонтик и отправилось к берегу моря, туда, где Андрей Хижина строил подводный завод.

В бюро пропусков, как часовые, стояли вахтерши в платках и шинелях; командированные с портфелями звонили по телефону; ругались шофёры, оформляя документы. Доштатая перегородка с окошечком ограждала дежурного от всех человеческих слабостей.

— Здравствуйте, — сказала Горе дежурному. — Я — Горе Андрея Хижины.

— Что? — спросил дежурный, окинув Горе бдительным взглядом. — Андрея Хижины? — И, порывшись в бумажках, сообщил: — Нет у меня на вас заявки.

— Я знаю, что нет, — сказала Горе, — но вчера его жену увезли в больницу. Если бы вы только знали, как он любит ее! Если бы вы только видели, как он глядел на нее, когда она лежала на кровати, маленькая и беспомощная, похожая на подбитую птичку!..

Горе говорило так жалостно, что шофёры, вытащив носовые платки, долго отсмаркивались и тяжело вздыхали. Командированные, прикрывшись своими портфелями, украдкой вытирали глаза. А вахтерши, стоявшие как часовые, громко плакали, и их слезы прямо ручьями текли на черные казенные шинели. И даже дежурный, огражденный перегородкой от всех человеческих слабостей, вдруг всхлипнул и сказал своему помощнику дрожащим и расслабленным голосом:

— Аникушкин! Человек ты или идол! Да проводи же их поскорее к товарищу Хижине!

И Горе проводили к Андрею Хижине.

Андрей Хижина был на берегу. Могучие подъемные краны высились над ним, широко расставив железные ноги. Море лежало тяжелое и черное. Из воды поднимались вышки. Сновали катера. Летали встревоженные чайки. Иногда далеко в бухте вскипали пенистые фонтаны, и тогда глухие удары сотрясали воздух и долго потом перекатывались над морем.

В белой рубашке, с рукавами, засученными до локтей, с разметавшимися на ветру волосами, Андрей Хижина, казалось, затерялся среди гигантских механизмов, но стоило ему поднять над головой свою маленькую загорелую руку, как в тот же миг что-то начинало скрежетать и ухать, звенели туго натянутые тросы, зажигались сигнальные лампочки, и тяжелая волна окатывала берег.

Горе прикоснулось к его плечу.

— Постой, постой, сынок! — сказала оно. — Ты так увлекся, словно у тебя и нет никакого горя. Неужели ты уже забыл свою маленькую Вареньку?

Андрей Хижина согнулся, будто его ударили.

— Горе мое! — проговорил он с мольбой и упреком. — Мне сейчас очень некогда. Если окажется перекос хотя бы на один миллиметр, всё придется начинать сначала.

— Хорошо, — сказала Горе, — делай свое дело. Я подожду, постою рядышком.

— Нет, — сказал Андрей Хижина. — Я не могу работать, когда ты стоишь рядом. Ты пойді домой, подожди меня там.

И он побежал к арке тоннеля, который соединял берег с подводным заводом.

Горе поглядело ему вслед: в тоннеле поблескивали склизкие ступеньки. Стены там дышали холодом и сыростью.

Нет, Горе не пошло туда: оно опасалось простуды.

И Горе вернулось в город. Оно вернулось в квартиру Андрея Хижины, уселось в кресло у окна и стало ждать.

Ждало долго. Наступил вечер. Пошел дождь. На другой стороне площади, как освещенные змейки, проползали трамваи. В комнате было очень тихо. Скреблась мышь. Андрей Хижина не возвращался.

«Может быть, он уже забыл обо мне? — думало Горе. — Может быть, он попросту сбежал от меня?» — думало Горе.

От нечего делать оно стало бродить по квартире и забрело в комнату дяди.

Дядя лежал на диване, как тесто в квашне. Полосатые носки его были продраны. Глаза заспаны. Брюки на животе не сходились. Когда он ворочался, чтобы почесать небритую щеку, пружины под ним недовольно поскрипывали. Он радовался, что в квартире не хлопают двери, не гремят кастрюльки, не звонит телефон, не говорит радио. И ничто не мешало ему дремать и думать.

А думал он о том, как глупо и несправедливо подзревать, будто он, Кузьма Кузьмич, лодырь и не хочет работать! Да разве он не хочет работать? Он очень даже хочет работать! Разве ему не скучно весь день лежать одному? Конечно, скучно. Но не мог же он поступить на работу зимой, когда стояли такие холода! А потом у него на глазу был ячмень. А потом эта несносная Варенька всё мешала ему подумать о работе.

Так он размышлял, когда услышал тихие шаги Горя.

— Кто это там ходит? — спросил он.

— Это я, Горе, — ответило Горе.

— Горе? — воскликнул дядя. — А по какому поводу вы явились?

— Я пришло сюда потому, что маленькую Вареньку вчера увезли в больницу.

— Но это же отлично! — воскликнул дядя. — Вы просто не можете себе представить, что это было за несносное существо. Наказание это было, а не существо!.. Садитесь, пожалуйста. Извините, что я в подтяжках и у меня не прибрано, но, знаете, ко мне так редко приходят гости, что нет никакого стимула прибирать в комнате. — И, поджав под себя ноги, дядя потеснился, уступая Горю место на краешке дивана.

Горе село. Оно протянуло руку и обняло дядю, как вчера обнимало племянника.

— Если бы вы только знали, как Андрей ее любит... — сказала Горе. — Если бы вы только видели, как он глядел на нее, когда она лежала на кровати, маленькая и беспомощная, словно подбитая птичка!..

Горе говорило так жалостливо, что дядя стал сопавывать носом, потом всхлипнул, и по его небритым щекам потекли слезы. Через час он уже лежал, уткнувшись лицом в подушку, и горько рыдал.

Так он предавался горю до позднего вечера. А поздним вечером захотел есть. Он вытер слезы и, всё еще всхлипывая, сказал, что чувствует необычайную слабость и очень просит Горе порыться в шкафчике, — там должно быть немножко водки, а потом сходить на кухню, включить газ и разогреть вчерашний суп.

Горе порылось в шкафчике, нашло водку, разогрело суп.

Дядя долго делил водку поровну, чтобы не обидеть ни себя, ни Горе.

— Ну, будем здоровы! — сказал он всхлипывая, и они чокнулись.

Ужин несколько утешил дядю. Он перестал всхлипать, только иногда нервно вздрагивал.

— Знаете, Горе, — сказал он, — я так разволновался, что мне теперь до утра не заснуть. Может, сыграем в картишки?

И так как Андрей Хижина всё еще не возвращался и Горю всё равно делать было нечего, то оно согласилось сыграть в карты.

Играли в подкидного дурака. Горе играло спокойно, молча, глядя на партнера красивыми и грустными глазами. А дядя волновался, хлопал Горе по коленке и всё беспокоился, чтобы Горе не жулило.

И Горе всё время оставалось в дураках.

К полночи они так подружились — дядя и Горе, что, когда вернулся домой Андрей Хижина, дядя и слышать не хотел, чтобы Горе ушло к племяннику.

— Да ну его, — говорил дядя, — он, наверно, устал как черт и сразу завалится спать. А я могу не спать хоть всю ночь, у меня и днем найдется время выспаться. Ей-богу, оставайтесь у меня.

Но Горе взглянуло на него укоризненно, поднялось с дивана, отряхнуло колени и ушло — строгое и грустное.

«Не понимаю, — думал дядя, — отчего люди жалуются на свое горе, когда даже с чужим горем можно неплохо провести время».

И он сладко захрапел, с присвистом и причмокиванием.

А Горе в это время уже обняло Андрея Хижину. Оно не дало ему даже включить электричество. Оно

не дало ему даже добрести до кровати. И опять он всю ночь просидел на стуле. Неподвижный и согнутый будто на его плечах лежал потолок.

Но наступил рассвет, и Андрей Хижина встал со стула.

— Ты не сердись на меня, мое Горе, — сказал он, — но мне пора, я побегу.

И он отправился на работу, а Горе осталось дома.

Теперь оно не скучало. Оно сразу пошло в комнату дяди.

Весь день они провели вместе. А к вечеру так привязались друг к другу, что Горе уже само не захотело идти к Андрею Хижине, тем более что Варенька поправлялась.

И Горе осталось у дяди.

С тех пор так и живут они все вместе. В одной комнате живет Андрей Хижина с Варенькой. В другой — дядя с Горем.

Андрей Хижина и Варенька учатся, работают и отдыхают. А дядя и Горе — едят, пьют да играют в подкидного дурака.



Рыжая красавица Дуня знала, что на всей улице, а быть может и во всем городе, нет красавицы, которая была бы красивее ее. Она отлично знала это, потому что уже третий месяц служила официанткой в столовой номер восемь треста общественного питания и посетители не раз говорили ей комплименты, перед тем как приняться за второе или третье блюдо.

И зная, что она так красива, она нисколько не удивлялась, что ее молодой муж, кузнец Василий Табак, любит ее с таким пылом и жаром, какой он мог позаимствовать только у своей нагревательной печи, полыхавшей в цехе днем и ночью.

Он был грубоватым парнем, этот черноволосый курчавый великан, выжимавший одной рукой двухпудовую гирию. Он недавно приехал из деревни, но не хотел посещать ни философский семинар, ни лекции по истории искусства эпохи Возрождения, а хотел посещать только цирк и кружок по изучению кузнечного дела. А из всего богатства мировой литературы он признавал только «Справочник кузнеца», песенник издания прошлого года и таблицу розыгрыша первенства по футболу.

Поэтому он даже не имел представления о том, как любят своих красавиц жен люди культурные и начитанные, и любил красавицу Дуню так, как подсказывало слабое развитие его интеллекта и отличное развитие его мускулатуры.

Раз двадцать в день он обнимал красавицу Дуню могучими руками, говорил: «Ух ты, а ну-ка еще!» — и целовал так крепко, будто бил молотом по наковалне.

И рыжая красавица Дуня хотя иногда и жаловалась, что ее муж не носит шляпу и не выступает с докладами, но, несмотря на это, охотно ходила с ним в цирк и на стадион, стирала его белье, штопала спецовку и раз в месяц мыла пол в коммунальной кухне.

И так безмятежно она, наверное, прожила бы всю свою счастливую жизнь, если бы однажды не увидел ее красавчик Витя Влюбченко.

У Вити Влюбченко голубые глаза, мягкие светлые волосы и нежных цветов галстуки. Он знал наизусть много стихотворений. И сам был поэтом.

В отличие от других поэтов, которых вдохновение осеняет только за письменном столом, или на берегу моря, или при виде заката и восхода солнца, Витя Влюбченко был осенен вдохновением всегда и повсюду: и за станком в цехе, и в бане, когда намыливал спину товарищу, и в магазине, где покупал колбасу на ужин.

Писал он так нежно и трогательно, что все девушки нашего завода были влюблены в белокурого поэта Витю Влюбченко, и по ночам каждой из них снилось, будто он посвятил ей сонет, который опубликован в стенной газете и передан по радио в обеденный перерыв.

В столовую номер восемь Витя Влюбченко попал случайно, намереваясь пообедать на скорую руку. Он уже выбрал себе бульон с пирожками на первое и рисовую запеканку на второе, когда увидел рыжую красавицу Дуню, которая неторопливо выплывала из кухни с подносом в руках, в белой наколочке и белом передничке, как корабль под парусами.

Рыжая красавица Дуня была так прекрасна, что он не смог даже выговорить слова «бульон», а, вцепившись в скатерть и заикаясь от восхищения, мог произнести только «бу» и, не отводя глаз от рыжей красавицы Дуни, повторял бессмысленное и восторженное «бу-бу-бу» до тех пор, пока не услышал:

— Что-то я не пойму, чего вы хотите, молодой человек! Еще не выпили и не закусили, подавиться, кажется, было нечем.

Услышав это справедливое замечание, он взял себя в руки и, испытывая небывалое смятение,

заказал бульон с пирожками и рисовую запеканку. А когда он съел бульон с пирожками и рисовую запеканку, то заказал флотский борщ и пожарские котлеты. А когда съел флотский борщ и пожарские котлеты, то заказал свежие щи и свиную отбивную. И хотя он не выпил ни капли спиртного и был сыт по горло, он не мог встать и расплатиться, а мог лишь заказывать обед за обедом и шептать губами, онемевшими от обильной пищи, восхищения и робости:

— Или я пьян, или она — богиня!

Сколько он себя помнил, он всегда был атеистом и никогда не верил в существование богов, а тем более — богинь. Но, сидя в столовой и доедая свиную отбивную, Витя Влюбченко понял, что он ошибался, что богини могут существовать и существуют, и где-нибудь в заоблачных сферах, а в нашем социалистическом обществе, и, по-видимому, это нисколько не противоречит материалистическому пониманию действительности.

Размышляя об этом, он заказывал блюдо за блюдом; он исчерпал всё меню, вплоть до чая с лимоном и чая без лимона, и расплатился только тогда, когда официантки уже стаскивали со столов белые скатерти и водружали на голых столах перевернутые стулья, которые громоздились, оскорбительно и насмешливо задрав кверху ноги.

Но и тогда Витя Влюбченко не поехал домой, а пошел за рыжей красавицей Дуней, забыв про велосипед, пальто, фуражку и кашне.

Он шел под дождем и шлепал по лужам, не смея приблизиться к прекрасной богине. Он шел за ней к трамвайной остановке, и ждал вместе с нею трамвая, и вскочил вслед за ней на подножку.

У ее дома он долго стоял под окнами, пока на одной из занавесок, как на экране кино, не появились два силуэта.

Один силуэт был как букет цветов, как облако в чистом небе, как флаг на ветру. Другой был как дом, как шкаф, как автобус.

Утром на заводе Витя был рассеян и задумчив. Ему сказали: «Здорбво, приятель!» Он ответил: «Благодарю!» У него спросили: «Будет сегодня редколлегия?» Он ответил: «Спасибо, ничего». А приблизившись к своему станку, возле которого никого не было, он притронулся к задней бабке и спросил: «Разрешите?»

В перерыве он пошел в кузнечный цех. Василий Табак стоял на своем месте. Его курчавые волосы были повязаны платком. Широкие брюки дымились. На голой спине играли блики пламени. Длинными щипцами он вытаскивал из печи брызжащую болванку и совал ее под громадный молот. А когда молот обрушивался на нее своей тысячепудовой тяжестью, Василий Табак вскрикивал: «Ух ты, а ну-ка еще!» И, повернув болванку, совал ее опять под молот и снова вскрикивал: «Ух ты, а ну-ка еще!»

Витя хмуро смотрел на кузнеца. Потом закричал, стараясь кричать так тихо, чтобы в шуме и грохоте мог слышать один только Василий Табак.

— А ты знаешь, товарищ Табак, что твоя Дуня — богиня?

— Ух ты, богиня! — расхохотался Василий Табак. — Что ж, дружок, может, и богиня, да тебе-то что?

— А ты не боишься, товарищ Табак, — кричал Витя, ужасно волнуясь, — что от твоих грубых ласк ее нежные губы могут покрыться мозолями?

— Ух ты, мозолями! — хохотал Василий Табак. — Нет, брат, нисколько я этого не боюсь.

И Витя Влюбченко сказал:

— Прозаический и низменный ты человек, товарищ Табак!

И он ушел из кузнечного цеха, гордый и белокурым.

После работы он опять сидел в столовой номер восемь, и хотя меню было в его руках, но он глядел не в меню, а на богиню Дуню и взволнованно шептал:

— Мороженое на первое и суп с клецками на второе!

— Кто же ест мороженое на первое? — с укором сказала она.

— Ах, простите, я хотел сказать: бульон с пирожками на первое и свежие щи на второе!

— Кто же ест щи на второе? — с презрением сказала она.

И только теперь она всё поняла. А когда всё поняла, то поглядела на него с интересом и сравнила со своим Василием Табаком. Нет, Василий Табак никогда не заказывал мороженое на первое, а щи на второе. Он просто не способен на такую любовь!

В этот вечер Витя Влюбченко опять пошел за красавицей Дуней. Он брел за ней по проспектам, улицам и переулкам; заходил с ней в аптеку, булочную и «Гастроном» и нес авоську с батонами, фаршем и луком.

Но в этот вечер не было дождя, и даже где-то далеко-далеко за фонарями, крышами и антеннами могла быть луна. Это придавало ему смелости, и он сказал так:

— Я просто удивляюсь, Евдокия Степановна! Неужели вашу необыкновенную красоту не оскорбляет то, что вы служите официанткой, выполняете всякую домашнюю работу и вообще удовлетворяете лишь физические потребности трудящихся?

— А какие потребности, по-вашему, я должна удовлетворять? — спросила она.

— Вы должны удовлетворять только духовные потребности, — сказал он, в волнении теребя авоську с продуктами. — И хотя я очень уважаю вашего мужа за его производственные и спортивные успехи, но я думаю, что он не умеет любить вас так, как того заслуживает ваша красота. Я думаю, что вам не пристало стирать ему белье, штопать спецовку и жить в коммунальной квартире, где в назначенные дни вам приходится мыть места общего пользования.

— А где мне пристало жить? — спросила она с интересом.

И он воскликнул:

— Вам пристало жить там, где живут богини!

— На небе? — спросила она.

— В музее! — сказал он. — В залах с мраморными колоннами, среди других богов и богинь.

И ей захотелось жить в залах с мраморными колоннами, среди богов и богинь. Но так как она была женщина рассудительная и не привыкла поступать очертя голову, то она спросила:

— А что мне надо будет там делать?

— Ничего, — сказал он. — Только восхищать своей красотой экскурсантов и одиночек.

— А справлюсь? — спросила она.

— Еще бы! — закричал он так восторженно, что милиционер, проходивший мимо, замедлил шаги.

— Что ж, можно попробовать, — сказала она сдержанно, чтобы Витя Влюбченко не догадался, что ей уж очень хочется жить так, как живут богини.

В этот вечер она не вернулась в свою коммунальную квартиру, к своему прозаическому Василию Табаку, а мчалась в такси к Музею, который высился посреди площади, как айсберг посреди океана. Могучие колонны поддерживали его горделивый портик. В громадных окнах поблескивал загадочный лунный свет.

Стукнула дверца такси, и две маленькие фигурки поднялись по широкой белой лестнице.

С бьющимся сердцем Витя ввел Дуню в кабинет ученого хранителя музея.

Ученый хранитель был очень молод, бледен и близорук. Университетский значок сверкал на его пиджаке, как орден.

Через очки и лупу он рассматривал удивительную сороконожку, у которой вместо сорока ножек были только четыре ножки.

Услышав стук в дверь, он не поднял головы и, продолжая разыскивать у сороконожки недостающие ножки, спросил:

— А это что?

— Это она! — сказал Витя гордо. — Я говорил с вами по телефону. Я доставил ее!

— Ах, она! — сказал ученый хранитель. — Помню, помню. Из раскопок гробницы Хеопса. Богиня с птичьим клювом! Ну что ж, заполним анкетку, и я помещу ее в отдел Египта.

— У нее нет клюва! — возмутился Витя. — И причем тут Египет? Я разыскал ее в столовой номер восемь. Это современная богиня! Вы поглядите, как она прекрасна! Разве она не лучше всех ваших старых

богинь, которые служили средством духовного порабощения трудящихся, тогда как она служит официанткой в столовой!

— Ах, наша советская богиня! Помню. Помню, — сказал ученый хранитель. — Ну что ж, заполним анкетку, и я помещу ее в бело-розовом зале, рядом с Венерой, Дианой и Юноной. Там как раз освободился пьедестал, и наша богиня займет достойное ее место.

В ту же ночь рыжая красавица Дуня была помещена в бело-розовый зал, рядом с богинями Венерой, Дианой и Юноной.

Так как она была современной богиней, то ей оставили черную юбку, нейлоновую блузку, капроновые чулки и туфли на микропористой подошве.

Рано утром, когда первые лучи солнца заглянули в бело-розовый зал и служители обмели новую богиню длинными мягкими метелками, раскрылись двухстворчатые двери и на пороге появился Витя Влюбченко в свежей бобочке, причесанный и торжественный.

Ему не пришлось отпрашиваться с работы, потому что еще накануне все заметили, что с ним что-то случилось, и мастер сказал ему так: «Сходил бы ты в поликлинику. Замечаю я, что с тех пор, как ты обедаешь в другой столовой, вид у тебя стал какой-то не такой. Животом маешься, что ли?»

Витя не стал спорить, он схватил направление в поликлинику и помчался в музей. И вот теперь он стоял на пороге бело-розового зала, склонив голову и выражая свою любовь восхищенным взглядом и глубокими вздохами.

А слух о новой богине уже разнесся по всему городу, и в музей повалили экскурсанты и одиночки.

Они торопливо проходили мимо всех других чудес искусства и природы — взволнованные парикмахеры и педагоги, математики и домохозяйки, портнихи и школьники, астрономы и водолазы, — они спешили прямо в бело-розовый зал и, увидев рыжую красавицу Дуню, замирали от восхищения.

Даже самые красноречивые экскурсоводы не находили слов, чтобы описать ее необыкновенную красоту, и они молчали, опустив свои длинные указки, которые смиренно гнулись к полу, как бы преклоняясь перед прекрасной богиней.

Так продолжалось до самого вечера, и до самого вечера у дверей стоял Витя Влюбченко. Он стоял, глубоко вздыхая, устремив восхищенный взгляд на богиню, молчаливый, мечтательный и задумчивый, как вахтер на дежурстве.

А вечером, когда все ушли и сторожа заперли двери и дремали за ними, вооруженные револьверами, рыжая красавица Дуня сказала богиням Венере, Диане и Юноне:

— Ну что ж, девочки! У вас тут, пожалуй, не хуже, чем в нашей столовой. Обстановка культурная, обхождение вежливое, пьяных нет... Да и удовлетворять духовные потребности трудящихся не так уж трудно!

Но богини молчали. Они никогда не бывали в общественной столовой, и им не с чем было сравнивать свое божественное существование.

На следующее утро служители опять обмели богинь длинными мягкими метелками и распахнули двери бело-розового зала. И опять первым появился Витя Влюбченко, которому и на этот раз не пришлось отпрашиваться с работы, потому что мастер сказал: «Видно, не помогли тебе в поликлинике. Вид у тебя

по-прежнему какой-то не такой. Наверное, диагноз не сумели поставить. Сходил бы ты, брат, на рентген.

И, сжимая в руке направление на рентген, Витя снова стоял на пороге зала, перед лицом своей прекрасной богини, трепеща от восторга и нежности.

А по коридорам и залам уже бежали экскурсоводы, экскурсанты и одиночки. Кинооператоры тащили на плечах треножки с киноаппаратами. Фотокорреспонденты на бегу щелкали затворами.

Второй день прошел так же, как и первый. И когда опять наступил вечер, сторожа заперли двери, а богини остались одни, рыжая красавица Дуня вздохнула, зевнула и сказала богиням Венере, Диане и Юноне:

— Всё-таки скучная у вас, девочки, должность. Хоть бы вязать разрешили, я бы вам кофточки связала, как у нашей поварихи... И мужчины какие-то уж больно серьезные: чтобы за весь день ни один не позвал в кино — в жизни со мной такого не бывало!

Но богини и на это ничего не ответили: они никогда не носили вязаных кофточек, и боги не звали их в кино.

И наступил третий день божественного существования рыжей красавицы Дуни.

Третий день начался, как предыдущие: у порога стоял вздыхающий Витя Влюбченко, а по коридорам спешили студенты и грузчики, балерины и управдомы, поэты и маникюрши, искусствоведы и вагоновожатые, завхозы и кузнецы.

Кузнецы прибежали уже к вечеру.

Среди кузнецов был Василий Табак.

Он выпил в этот день не одну стопку водки, думая водкой залить тоску о пропавшей без вести Дуне, а когда Василий Табак выпивал не одну стопку водки,

то становился таким послушным, что готов был последовать любому совету. И, зная о такой его психологической особенности, председатель культкомиссии сказал ему:

— Беда мне с тобой, товарищ Табак! В том месяце ты руку вывихнул, а теперь вот жена сбежала. И в этом, по существу, нет ничего удивительного. Односторонний ты человек, товарищ Табак! Все вокруг тебя люди культурные: посещают семинары, интересуются искусством, выезжают в лес за грибами, ходят в музеи, только ты один нигде не бываешь. Отсталый и невежественный ты субъект, товарищ Табак, всё равно как неандертальский человек, живший на заре нашей эры. Сходил бы хоть раз в жизни с нами на экскурсию.

И так как Василий Табак выпил в этот день не одну стопку водки, то он согласился пойти на экскурсию.

Он шел не спеша, чуть пошатываясь на своих могучих ногах, а свои железные кулачищи, чтобы не пугать людей, нес в карманах, как тяжелые булыжники.

Так дошел он до дверей бело-розового зала, но, увидев на пьедестале Дуню, остановился, и его черные брови поднялись так высоко, что если бы была на нем шапка, то она съехала бы на самый затылок.

Он стоял некоторое время молча, соображая, не выпил ли лишку, но вдруг захохотал так громко и неожиданно, что одно нежное мраморное изваяние, испуганно вскрикнув, слетело с подставки и разбилось на несколько кусков.

— Поглядите на нее! — кричал Василий Табак, бросаясь к Дуне и расталкивая экскурсоводов, экскурсантов и одиночек. — Поглядите на нее, люди

добрые! На работу не ходит, дома обед не сварен, белье не постирано, муж запил, а она сидит себе здесь, всё равно что кассирша!.. Эх ты, моя курносая!

— Васенька! Миленький! — закричала богиня Ду-
ня и полезла с пьедестала прямо в громадные ручки
кузнеца.

— Караул! — кричали экскурсоводы, экскурсанты
и одиночки. — Караул! Он попортит ее свежие губ-
ки! Он раздавит ее нежные плечи! Держите невежу!
В милицию его! Протокол! Оштрафовать!

Свистели свистки. Звенели звонки. Маникюрши
хватали его за руки. Балерины — за ноги. Искусство-
веды разъясняли ему, что такое прекрасное.

— Не трожьте его! Не трожьте! — кричала боги-
ня Дуня. — Чего вы на него напали? Человек недав-
но из деревни, в музеях не бывал, а вы сразу: «Ми-
лиция! Милиция!»

И, отбив своего великана от экскурсоводов, экс-
курсантов и одиночек, она встала на цыпочки, чтобы
поправить ему галстук, и шепнула:

— Фу, какой ты, Васенька, право! Ты бы меня
издали поманил, я бы незаметно к тебе вышла, а то
ведь как так можно: жену в богини выдвинули, люди
ей поклоняются, а ты при всех прямо на ее рабочее
место полез целоваться. Вот и неприятности. — И она
потасила его за руку к выходу. — Пойдем скорее,
пока милиция не явилась. Хватит им здесь богинь без
меня!

И они побежали из бело-розового зала. И они
бежали из музея, который высился посреди площади,
как айсберг посреди океана. А когда очутились в
трамвае, стиснутые со всех сторон пассажирами, пре-
красная богиня прижалась к своему черноволосому
кузнецу и сказала:

— Ох, до чего мне надоело быть богиней! — и поцеловала его в колючий подбородок.

— Ух ты! — воскликнул Василий Табак. — А ну-ка еще!..

Так рыжая красавица Дуня и не стала богиней. Ей был объявлен в приказе выговор за трехдневный прогул. И она осталась официанткой в столовой номер восемь треста общественного питания. И Василий Табак по-прежнему не щадил ее божественной красоты: раз двадцать в день он обнимал ее своими могучими руками, говорил: «Ух ты, а ну-ка еще!» — и целовал так крепко, будто бил молотом по наковальне.

А белокурый поэт Витя Влюбченко опять стал убежденным и последовательным атеистом и понял, что в наше реалистическое время нет и быть не может богов, а тем более богинь. И если бы рыжая красавица Дуня в самом деле оказалась богиней, то это находилось бы в вопиющем противоречии с материалистическим пониманием действительности.



Умного Мишу все хвалили за то, что он рассудительный и выступает на каждом собрании. Красавчика Витю все хвалили за то, что он вежливый и может сочинить стихи на любую тему. Петю Коржика все хвалили за то, что он скромный и много читает.

А глухого Ванечку хвалить было не за что, и глухого Ванечку все ругали.

Ругали его за то, что он глупый; ругали за то, что он растяпа; ругали за то, что любит поспать; ругали за то, что любит поесть; ругали за то, что в кино ходит охотно, а на лекции не очень охотно...

Если он не делал чего-нибудь, его ругали — почему не делает. А если делал — ругали, почему делает так, а не иначе. А если делал иначе — то почему делает иначе, а не так, как другие.

Ругали его даже за то, за что других хвалили.

Ляжет умный Миша поспать после обеда, и каждый, кто бы ни вошел в комнату, говорил так:

— Вот какой Миша умный. Пообедал и отдыхает.

Но, увидев, что глупый Ванечка снимает тапочки и топчется в одних носках у кровати, тот же вошедший говорит:

— Ну и глупый же ты парень, Ванечка! Почему бы тебе в библиотеку не сходить? Почему бы с умными людьми в футбол не поиграть? А то не успел пообедать — и уже отдыхаешь!

И Ванечка не обижался, когда его ругали, понимая, что ругают его справедливо, из самых лучших побуждений, желая ему добра и счастья.

Он действительно был глуповат, наш бедный Ванечка.

И лицо у него было глупое: ни очков, как у Миши; ни чубчика, как у Вити; ни чернильного пятнышка на подбородке, как у Пети Коржика. Никаких первичных признаков интеллекта!

И одежда была у него глупая: на голове он носил круглую глупую тюбетеечку, а на ногах — глупые тапочки.

И работа его не требовала ни умения, ни сноровки, ни сообразительности. Сидел он перед каким-то тупоносим станочком, нажимал какой-то тупоносый

рычажок, и получались какие-то тупоносые шутовские винки, казавшиеся потом бородавками на благородных и умных машинах, сверкавших в отделе готовой продукции.

Мы очень жалели нашего глупого Ванечку и старались помочь ему, чем только могли.

Когда мастер хотел перевести его на другую работу, добросердечный Петя Коржик говорил:

— Ванечку?.. На другую работу?... Да разве он справится? Нет уж, вы нашего Ванечку, пожалуйста, не трагайте!

А когда шли все вместе в кино, умный Миша говорил Ванечке:

— Ты только смотри на экран, а я тебе буду объяснять всё, что там происходит.

А когда знакомились в клубе с девушками, то красавчик Витя говорил девушкам:

— Вы на Ванечку не обращайте внимания, он у нас немного того... — И он покручивал пальцем возле своего лба.

Но одна девушка, которая была похожа на маленького зайчика, засмеялась и сказала Ванечке:

— Как жаль, что вы немного того... — и она тоже покрутила пальчиком возле своего лба, — а то мы с вами потанцевали бы вместе. — И она поглядела на Ванечку такими раскосыми, такими смеющимися и уже танцующими глазами, что он весь вспыхнул, как спичечная головка.

Но красавчик Витя сказал:

— Нет, вы уж не смущайте нашего Ванечку. Где ему танцевать! Лучше вы со мной потанцуйте!

Сверкали люстры. Гремела радиола. Все танцевали и веселились. А Ванечка стоял у стены в своей глупой тюбетеечке и глупых тапочках и тоскливыми

глазами провожал бантик, похожий на заячьи ушки, который мелькал то справа, то слева, то прямо перед ним.

Когда кончились танцы, красавчик Витя подошел к нему и сказал:

— Оставь надежды, дружок! Где тебе засматриваться на девушек! Разве ты догадаешься, что надо сделать, если твои губы случайно окажутся возле ее нежной щечки?

В этот вечер красавчик Витя вернулся домой позже всех. Он вернулся влюбленный и ликующий и, взглянув на глупого Ванечку, который уже лежал в постели, воскликнул:

— Друзья мы ему или не друзья? Можем ли мы спокойно играть в футбол и шахматы, любить театр и девушек, развиваться физически и нравственно, когда наш любимый товарищ лишен всех радостей юности, потому что глуп, как новорожденный?

— По-моему, не можем, — сказал Петя Коржик. — Никак не можем!

— Всё ясно, ребята! — сказал умный Миша. — Мы должны чаще напоминать ему о его глупости, чтобы он не мирился с нею, а изо всех сил старался поумнеть. Не унывай, Ванечка! Не вешай носа, дружок! Мы не покинем тебя в беде. Мы будем напоминать тебе о твоей глупости так часто, как этого требуют от нас законы товарищеской взаимопомощи, и я уверен, что не пройдет и месяца, как ты поумнеешь.

И мы стали напоминать Ванечке о его глупости каждый день и каждый час, где бы ни были: дома или на заводе, в клубе или в столовой, в школе или в кино.

Но прошел месяц, второй и третий, а наш бедный Ванечка был всё таким же глупым.

Нет, мы не могли с этим примириться.

И однажды вечером, когда мы обсуждали этот вопрос, к нам в комнату зашел комендант.

Он окинул стены своим строгим комендантским взглядом, поскрипел на пороге хромовыми сапогами, заглянул под кровати, понюхал в углах, а потом уселся на самое почетное место — за столом.

— Здорово, товарищи! — сказал он.

— Здорово, — ответили мы.

— Не спим? — спросил он.

— Не спим, — ответили мы.

— Разговариваем?

— Разговариваем, — ответили мы.

И умный Миша встал перед ним, маленький и серьезный, сверкая большими очками на крохотном носике, и сказал:

— Очень хорошо, что вы зашли, так как одни мы не в силах решить вопрос, который нас весьма тревожит. Дело в том, что в нашей среде, — сказал он, — в нашей яркой и умной среде есть один глупый. Этот глупый — наш любимый товарищ, и мы желаем помочь ему всеми силами своего ума.

— Поможем! — сказал комендант. — С нами не пропадет!

— Может быть, мы не так его воспитываем? — спросил красавчик Витя.

— Не так! — сказал комендант.

— Может быть, будет лучше не напоминать ему каждый день о его глупости, а делиться с ним своим собственным умом? — предложил Петя Коржик.

— Будет лучше! — сказал комендант.

— Ну что ж, — сказал умный Миша, — в таком случае я готов весь свой ум разделить поровну между собой и им.

- Только чтоб поровну! — сказал комендант.
- Каждый день я буду рассказывать ему что-нибудь умное, — обещал Миша.
- Каждый день! — сказал комендант.
- Но ведь он глупый, как же поймет он умное? — спросил красавчик Витя.
- Да, как же? — сказал комендант.
- Ну, это очень просто, — ответил умный Миша. — Надо только об умном рассказывать поглупее.
- Как можно глупее! — сказал комендант.
- Надо, чтобы умное стало почти что глупым, — пояснил умный Миша.
- Вот именно! — сказал комендант.
- Но если умное станет глупым, как же тогда отличить умное от глупого? — спросил Петя Коржик.
- Да, как же? — сказал комендант.
- Но это же ясно, — объяснил умный Миша. — То, что говорит умный, — это умно. А то, что глупый, — это глупо.
- Ясно! — сказал комендант.
- И мы стали по-новому воспитывать нашего глупого Ванечку.
- Всё умное, что за день мы узнавали, прочитывали или выслушивали, мы передавали нашему глупому Ванечке так глупо, чтобы он мог понять.
- И каждый вечер, когда глупый Ванечка снимал свою глупую тюбетеечку и глупые тапочки, кто-нибудь из нас садился рядом с ним на кровать и спрашивал сочувственно и дружелюбно:
- Ну как, дружок? Может быть, мы рассказываем тебе недостаточно глупо?
- Нет, почему же, — отвечал Ванечка, — достаточно глупо. Спасибо.
- И не помогает?

— Ой, не знаю, — отвечал Ванечка, — не знаю, ребята!

Вот каким глупым был наш Ванечка. Ну что будешь с ним делать? Как помочь товарищу?

Решили, что следует Ванечке сходить в поликлинику. Но так как мы не были уверены, что у Ванечки хватит ума самому рассказать врачу о своей глупости, то умный Миша вызвался сходить вместе с ним.

Записались на прием к известному специалисту по глупости.

От частого общения с глупцами этот специалист был человеком мрачным и разочарованным в жизни.

— Мы пришли к вам, доктор, — сказал умный Миша, — по поручению всей нашей комнаты. Мы просим вылечить одного из нас от глупости. Мы очень страдаем от того, что один из нас глуп и бросает тень на всю нашу комнату.

— Садитесь, — сказал доктор мрачно, — сколько будет трижды три?

— Девять! — сказал глупый Ванечка.

«Эге! — подумал умный Миша. — А доктор-то не дурак! Как ловко он определяет глупость своего пациента! Какой глупец не скажет, что трижды три будет девять?» Он подмигнул доктору и проговорил, указывая на Ванечку:

— Вот видите, ему даже не приходит в голову, что трижды три можно выразить как одну сотню без девяти десятков и одной единицы, или, как утверждал еще Пифагор, это равнозначно числу девяносто, деленному на десять...

— Ладно! — сурово сказал доктор. — А какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот сорок седьмой, — сказал Ванечка.

А умный Миша, горько усмехнувшись, обратился к доктору с такими словами:

— Ну разве не обидно, когда твой близкий товарищ даже не догадывается, что если считать от происхождения жизни на земле, то...

— Ладно! — с отчаянием перебил его доктор. — Поменьше читайте книг.

— Слышишь, Ванечка, — шепнул умный Миша, — поменьше книг!

— И пореже ходите на лекции, а почаще в кино, — сказал доктор.

— Слышишь, Ванечка! — шепнул умный Миша. — Боже тебя упаси ходить на лекции — только в кино!

Мы тщательно следили за тем, чтобы глупый Ванечка не нарушал предписаний врача. Мы спрятали от него все книги, и когда он один раз вдруг захотел пойти вместе с нами на лекцию, мы уговорили его лучше сходить в кино.

И каждый вечер, как и прежде, кто-нибудь из нас садился к нему на кровать и спрашивал с участием и надеждой:

— Ну, как дружок, не помогает? Не замечаешь ли ты, что хоть немножечко умнеешь?

Сначала глупый Ванечка говорил, что он ничего не замечает, но приблизительно через месяц заявил:

— Кажется, начинаю замечать, ребята! Только вот что меня беспокоит: допустим, я стану умным — очень хорошо. Я-то буду знать, что я умный, но как сделать, чтобы другие тоже узнали, что я стал умным?

Вот каким неизлечимо глупым был наш Ванечка.

— Может быть, мы за чем-нибудь не уследили? — горько вздохнул Петя Коржик. — Может быть, он

тайком от нас сходил на лекцию или начитался книг?

— Нет, — сказал умный Миша, — лечился он добросовестно, и если лечение ему не помогло, то, по-видимому, у нашего Ванечки какое-то патологическое перерождение клеток головного мозга, а это, увы, неизлечимо...

— Бедный Ванечка! — сокрушался Петя Коржик. — Так, видно, ему и на роду написано: оставаться глупым Ванечкой!

И никогда в жизни мы не расстались бы с нашим глупым Ванечкой, а опекали бы его вечно, как и должны умные опекать глупых, если бы в одно из воскресений опять не зашел к нам в комнату комендант.

Он пришел, как всегда, скрипя сапогами, поглядел под кровати, понюхал в углах, расспросил про Ванечку и сказал:

— Мало помогаем парню! Нужно сделать что-то еще.

— Но что? — спросил умный Миша. — Разве и теперь мы испробовали не все средства?

— Не все! — сказал комендант.

— Ведь ум в магазине не купишь, — сострил красавчик Витя.

— Не купишь! — вздохнул комендант.

— Да, ум — это не картошка! — глубокомысленно подтвердил Петя Коржик.

— Не картошка? — спросил комендант и, недолго подумав, сказал: — Не картошка!.. Это мысль: я пошлю его на картошку!

И он послал нашего глупого Ванечку на картошку, так как была осень и картошку надо было копать.

Всей комнатой мы провожали Ванечку, горько сокрушаясь о его будущем. Мы снабдили его и

дорогу крутыми яйцами, маслом и булкой. Дали еще с собой конфет, чтобы не так скучно было ехать, и железнодорожный справочник, чтобы он знал, где выходить.

Мы проводили его до самого вагона, и, когда глупая тютбеечка скрылась в вагоне, у Пети Коржика даже слезы блеснули на глазах, так жалко ему стало нашего Ванечку, который может погибнуть без нас на какой-нибудь картофельной грядке, как былинка в поле. Разве он обойдется без нас, наш глупый Ванечка? Разве он сможет самостоятельно жить на свете, наш беспомощный Ванечка?

Заглянув в окно вагона, мы увидели, что Ванечка уже расположился на своей полке, сразу принявшись за яйца и булку, а как раз против него сидит девушка с кругленьким личиком, похожим на спелое яблоко, с круглыми, как у теленочка, глазами и такая милостивая, что красавчик Витя даже вскрикнул:

— Ах, черт! Ну и повезло же нашему Ванечке! Да разве он сумеет воспользоваться таким соседством? Вот мне бы туда, а не Ванечке!

Глупый Ванечка действительно не обращал на соседку никакого внимания и, улыбнувшись друзьям, стал намазывать масло на булку.

— Ах, какие у вас интересные товарищи! — сказала девушка, когда поезд тронулся. — Такие товарищи!.. Такие товарищи!..

— Хе! — сказал глупый Ванечка, и это могло означать что угодно.

— Ах, какая у вас чудесная тютбеечка! — сказала девушка. — Такая красивая, такая пестрая, такая круглая тютбеечка!

— Хе! — сказал глупый Ванечка и поглядел на девушку с любопытством.

— Какая это станция? — спросила девушка, когда поезд стал замедлять ход.

— Поповка! — сказал глупый Ванечка.

А когда поезд остановился, девушка выглянула в окно и воскликнула:

— Действительно Поповка! Ах, какой вы сообразительный!

— Как вы сказали? — спросил Ванечка. — Я?.. Сообразительный?..

— Как вы догадались, — удивилась девушка, — что сейчас будет именно Поповка?

— Я не догадался, — сказал Ванечка, — я посмотрел в железнодорожный справочник.

— Ах, как это умно, — сказала девушка, — что вы захватили с собой железнодорожный справочник!

— Как? — спросил Ванечка. — Вы сказали, что это умно?

— Это не только умно, но и предусмотрительно, — ответила девушка, пудря носик. — Может, выйдем, пройдемся по платформе?

— Почему ж не пройтись, — сказал Ванечка, — хотя я и не очень понимаю, зачем ходить, если можно сидеть. Между прочим, лично я скоро лягу, потому что я также не понимаю: зачем сидеть, если можно лежать.

И девушка, услышав это, смеялась так, что просыпала пудру. И, смеясь, она говорила:

— Ой, да вы уморите меня своим остроумием! Я просто в жизни не встречала такого остроумного и находчивого молодого человека!

— Остроумного?.. — сказал Ванечка. — Находчивого?.. Вы удивительная девушка, — сказал он, — я готов гулять с вами по платформе хоть до конца жизни!

Не доезжая станции Березовка, он починил застегну-молнию на сумочке своей соседки. Не доезжая станции Васильевка, он прочитал четвертый том собрания сочинений Чарльза Дарвина, купленный на станции Антоновка. А не доезжая станции Сосновка, он уже рассуждал с соседями по вагону о происхождении видов, и все удивлялись тонкости его умозаключений.

Через полтора месяца он вошел в нашу комнату в кепке, в начищенных ботинках, с книгами под мышкой и под руку вел молодую жену.

Раньше чем мы успели что-нибудь сказать, он уже объявил, что пришел за своими вещами, что перевелся на другую работу, что получил комнату в новом доме, что спешит на лекцию о браке и семье.

— Вернулся! — закричал умный Миша и бросился к нему. — Наконец-то вернулся наш милый, наш глупый Ванечка!

Но Ванечка, услышав это, положил книги на тумбочку, отпустил руку жены и, приблизившись к умному Мише, сказал так:

— Ну вот, теперь мы разберемся, кто тут умный, а кто глупый!

Разбирались они недолго.

И с тех пор никто не называл нашего Ванечку глупым Ванечкой.



Умный Миша любил животных. И животные любили его. Его любили собаки и кошки, коровы и лошади, козы и свиньи. Свиньи любили его особенно. Стоило им издали заметить его глубокомысленную походку и многозначительные очки, как они бежали навстречу, восторженно хрюкая.

Но умный Миша отдавал предпочтение ослу.

Осел служил в доме отдыха.

Он возил воду.

Он был серый, ушастый и симпатичный.

Он так привязался к умному Мише, что повсюду брел за ним, шевеля ушами. Когда Миша отправлялся купаться, осел стоял на берегу и преданными глазами глядел на море. Когда Миша лежал на траве, читая книгу, осел заглядывал в книгу через его плечо. Когда Миша смотрел кино или слушал лекцию, осел стоял под окнами красного уголка и жалобно ревел, чтобы и его пустили в кино или на лекцию. А когда над морем всходила луна и на какой-нибудь романтической скамейке, укрытой от посторонних глаз пышными тропическими растениями, Миша объяснял девушке, чем отличается любовь от дружбы, — вдруг раздвигалась листва и сквозь ветви деревьев просовывалась любопытная и доброжелательная ослиная морда.

Миша ценил преданность осла и на его любовь отвечал любовью.

Что-то влекло их друг к другу.

Их дружба была омрачена только одним обстоятельством: осла все считали ослом.

Ослом считал его завхоз. Ослом считали его нянечки. Ослом считали его отдыхающие.

Они говорили:

— Ведь это только подумать: кто бы другой, кроме умного Миши, мог заслужить такую ослиную привязанность?

А культработник, приглашая умного Мишу на лекцию с танцами, просил:

— Только уж, пожалуйста, приходи без своего осла, потому что он, хотя и очень симпатичный осел, но всё-таки — осел!

И умный Миша догадывался, что, считая осла ослом, окружающие бросают на его дружбу с ослом какую-то тень, придают ей какое-то обидное значение. И это очень его огорчало.

Однажды даже он сказал культурработнику:

— Я совершенно не понимаю, зачем надо обязательно подчеркивать, что осел это осел?

— А разве он не осел? — спросил культурработник.

— Нет, я не оспариваю, что он осел, — ответил умный Миша. — Я не дурак, чтобы это оспаривать. Но ведь надо понимать, что осел ослу рознь и не всякий осел в действительности осел.

Но, несмотря на это объяснение, все продолжали считать осла ослом, а умный Миша по-прежнему обижался и от всей души желал, чтобы его любимого осла, в отличие от всех других ослов, не считали ослом.

Однажды, гуляя с ослом, он сказал ему так:

— Вот что, дружище осел! Я отлично понимаю, как должно тебя обижать то, что все считают тебя ослом. Я много думал об этом и пришел к выводу, что действительно пора тебе перестать быть ослом. И это вполне возможно осуществить, потому что человек, как известно, довольно успешно преобразает природу, тем более человек образованный и неглупый. И я преобразую тебя, дружище осел! Вопрос только в том, в кого тебя преобразить?.. Исходя из интересов дома отдыха, разумнее всего было бы преобразить тебя в автомобиль, но для этого нужен мотор, а достать мотор я не берусь. Можно было бы преобразить тебя в вола, но для вола у тебя маловат рост. Логичнее всего было бы преобразить тебя в лошадь, но лошадь должна ржать, а этого я, к

сожалению, и сам не умею. Придется преобразить тебя в человека.

Если бы осел не был ослом, он ответил бы умному Мише так:

— Нет, дружище! Я никогда не слышал, чтобы осел стал человеком. Оставь, брат, это дело. Пусть уж лучше я по-прежнему буду ослом.

Но так как он был ослом, и к тому же весьма доверчивым ослом, он не сказал этого.

Во время мертвого часа, когда все в доме спали, Миша увел осла в кусты и там надел на него светло-серые брюки в полоску, рубашку кремового цвета и галстук, пестрый, как цветная открытка.

Очки придали ослиной морде вид глубокомысленный и интеллигентный. Ослиные уши были спрятаны под фетровую шляпу.

Когда кончился мертвый час, умный Миша вывел преображенного осла на улицу и сказал ему:

— Ну, дружище, теперь изволь держаться как человек, потому что только самый опытный зоолог сможет распознать в тебе осла... — И он щелкнул крышкой портсигара: — Не хочешь ли закурить?

Но первый же отдыхающий, который вышел в полосатой пижаме купить мороженого, увидев их, взмахнул руками и закричал:

— Ой, держите меня! Ой, умру! Поглядите, как вырядился этот осел!

Отдыхающие выбежали из домов отдыха и санаториев. Сестры и нянечки в белых халатах высунулись из окон. Чистильщики сапог вскочили со своих табуреток. Мальчишки, бежавшие к морю в одних трусах, присели на корточки и схватились за свои поджарые, голые и черные животы. И все хохотали, подталкивая друг друга локтями и кричали:

— Глядите! Глядите! Осел — а в штанах и шляпе!

И умный Миша шепнул ослу:

— Пойдем, дружище, домой. Как видно, человек отличается от осла не только штанами и шляпой.

И по дороге к дому он рассуждал:

— Дело, по-видимому, не в одежде, а в чувствах. Чтобы осел стал человеком, он должен познать высокие и благородные чувства, — такие, как долг, честь, любовь. Я думаю, что легче всего нам начать с последнего. Я научу тебя, дружище, любить той чистой, одухотворенной любовью, которая с древних времен вдохновляет поэтов и лекторов по вопросам морали. Такой любви не знает ни одно, даже самое благородное, животное, такая любовь свойственна только человеку.

И умный Миша научил осла такой одухотворенной любви, потому что это был восприимчивый осел, а умный Миша был исполнен самых горячих дружеских намерений.

Осел полюбил.

Он полюбил не очень молодую и не очень красивую учительницу ботаники, девушку чрезвычайно строгих нравственных правил, которая никогда не была замужем, потому что ей казалось, что все ее поклонники смотрели на нее только как на женщину, а не как на учительницу ботаники. Это чрезвычайно оскорбляло ее строгую нравственность, и она отвергала поклонника за поклонником до тех пор, пока все стали смотреть на нее только как на учительницу ботаники, и тогда уж ей не пришлось больше никого отвергать.

Осел полюбил ее той возвышенной и одухотворенной любовью, на какую не способно ни одно животное.

Днем он шел к школе и молча стоял под окнами, понурился морду, и слушал, как учительница объясняет детям, что такое тычинки и пестики.

Когда она возвращалась из школы, он поджидал ее за каким-нибудь углом и клал к ее ногам полуразжеванные пучки цветов, которые он приносил с гор для ее гербария. А вечером, когда луна освещала стройные кипарисы, цикады пели в кустах, а влюбленные прижимались друг к другу, — на высоких скалах появлялся тоскующий осел. Морской ветер заламывал поля его шляпы и раздувал макинтош. Он бродил один с отчаянным видом, иногда останавливаясь над бездной и размышляя, не броситься ли ему в морскую пучину, но в пучину он не бросался, а только ревел таким трагическим голосом, что цикады смолкали, потрясенные силой его страсти.

А умный Миша, сидя в саду, говорил девушкам:

— Вы слышите? Какое благородство чувства! Какая тонкость переживаний! Ну, кто скажет, что это осел?

Но девушки не слушали его. Они бежали к морю. Влюбленные размыкали объятия. Они кричали:

— Где тут, где тут влюбленный осел? Бежим скорее, бежим поглядеть на ослиные нежности!

И утром умный Миша увел осла в горы.

Он сел на камень, подпер рукой щеку и стал думать.

А осел, в очках, макинтоше и шляпе, щипал траву.

— Не унывай и не отчаивайся, дружище! — сказал умный Миша. — Я не такой дурак, чтобы думать, что преобразование природы дело легкое. Нет, я отлично понимаю, что оно требует терпения и упорства. По-видимому, — сказал он, кусая ногти, — чтобы осел стал человеком, ему недостаточно носить

человеческую одежду и познать человеческие чувства. Дело, наверное, в должности. Может быть, попробовать устроить тебя завхозом в какой-нибудь санаторий?..

И возможно, что умный Миша устроил бы осла завхозом в какой-нибудь санаторий, но как раз в это время кончился срок его путевки, и умный Миша уехал домой, в наши края, где, как известно, ослов нет.

И он увез с собой свои штаны, очки и шляпу.

А осел остался.

Он и сейчас служит в доме отдыха.

Возит воду.

Он опять стал серым, ушастым и симпатичным.

Он щиплет траву, помахивает хвостом и шевелит ушами.

И все относятся к ослу очень хорошо.



Старый юкоча

Ногда-то профессор Мойкин тоже был молодым, как это ни странно. Когда-то ему тоже было восемнадцать лет. У него тогда еще не было морщин, ревматизма и одышки. У него были румяные щеки, спелые губы и звонкий смех. И сколько он ни смачивал свою макушку водой или одеколоном, волосы всегда там торчали забавным русым хохолком.

В то время его еще называли Федей Мойкиным, но уже тогда он был очень рассудительным.

Вот в этом-то всё и дело.

Он всегда был рассудительным, с самого юного возраста, так что один раз ему даже поручили сделать доклад на тему: «Рассудок и его значение для молодого человека нашего времени». И все мы после этого доклада стали такими рассудительными, что когда нам хотелось мороженого, то мы сдерживали в себе это безрассудное желание и покупали витамин С или рыбий жир. А когда нам хотелось заговорить с какими-нибудь незнакомыми девушками, то мы сдерживали в себе и это безрассудное желание и заговаривали только с уже знакомыми девушками.

Но нашей рассудительности хватало всего на несколько дней, а потом мы снова предавались безрассудным юношеским порывам: покупали мороженое и знакомились с незнакомыми девушками.

И Федя Мойкин вместе с нами: потому что, несмотря на всю его рассудительность, молодость брала свое.

Но у Феде Мойкина была учительница. Она была старая и строгая. Никогда в жизни у нее не было ни мужа, ни друга, ни брата, ни сына, ни дочери, ни внука, ни дяди, ни тети, а были у нее только ученики.

И Федя Мойкин был ее любимым учеником.

— Ты, мой друг Мойкин, обладаешь выдающейся рассудительностью, — говорила она. — Ты, мой друг Мойкин, обязательно должен стать профессором, — говорила она. — Но для этого надо жить не так, как живут шалопаи и ветреники, а нужно учиться с утра до вечера, ничем не отвлекаясь и не теряя ни одной минуты на праздные забавы.

А Федс Мойкину очень хотелось стать профессором. Он решил последовать ее совету и учиться с утра до вечера, ничем не отвлекаясь и не теряя ни одной минуты на праздные забавы.

И он, конечно, выполнил бы это разумное намерение, если бы ему ничто не мешало.

Но ему мешала его молодость. Она очень ему мешала.

Только он усаживался с книгой у окна, как видел, что ребята бегут на речку купаться, что на плечах у них вместо рубашек — полотенца, а в руках вместо полотенца — рубашки, и по пути они скачут друг через друга с криком и гиканьем. И бедняга не выдерживал: он перемахивал через подоконник и, на бегу снимая рубашку, прыгал через голые спины друзей, подставляя и им свою голую спину.

Вернувшись с купанья, он снова усаживался у окна и, стиснув руками мокрые уши, говорил себе, что теперь-то уж ничто не отвлечет его от книг и уроков, потому что он отлично понимает, как много книг ему нужно прочитать и как много знаний необходимо приобрести, чтобы стать профессором.

Но, размышляя так, он слышал за окном пронзительный свист и видел над футбольной площадкой тучу пыли. Сквозь пыль можно было разглядеть только рыжего веснушчатого вратаря, который, широко расставив согнутые ноги и упершись руками в грязные коленки, так приплясывал от нетерпения и азарта, что подсохший хохолок на макушке Феде Мойкину внезапно вскакивал и рассудительный юноша, высушившись из окна, кричал:

— Шляпы! Сапожники! Разве так пасуют? Вот как пасуют!.. — И он прыгал в окно, бросаясь навстречу мячу со всем пылом своих восемнадцати лет.

Мокрый и горячий, он возвращался в комнату и говорил себе так:

— Да будешь ли ты наконец заниматься, мой друг Мойкин? При таком темпераменте ты, мой друг Мойкин, пожалуй, никогда не станешь профессором!

Он закрывал окно и снова садился за книги и уроки. Но, усевшись, он слышал, как кто-то постукивает по стеклу тоненькими пальчиками, и видел прижавшуюся к стеклу нашлепочку носа, раскосые хитрые глазки и веселые губки школьницы Валечки, которые ему ужасно хотелось чмокнуть, хотя бы через оконное стекло.

И он отбрасывал книгу, распахивал форточку и кричал, что он сейчас, что только заложит страницу, что только повяжет галстук, что до начала сеанса еще десять минут...

А утром учительница ему говорила:

— Не понимаю я тебя, мой друг Мойкин! Что тебе мешает с утра до вечера, ничем не отвлекаясь, читать и учиться?

Он переминался с ноги на ногу, приглаживал свой забавный хохолок и отвечал так:

— Ну как вы не понимаете! Разве можно сосредоточиться на книге, когда хочется бежать с мальчишками купаться, играть в футбол, целоваться с девочками! Тут даже сам Иммануил Кант не усидел бы на месте.

— Странно, — говорила она, — очень странно, что тебе этого хочется. Этого я просто понять не могу. Почему мне вовсе не хочется ни купаться с мальчишками, ни играть в футбол, ни целоваться с девочками?

— Может быть, потому что я молодой? — говорил он.

— Вполне возможно, — отвечала она, — вполне вероятно, мой друг Мойкин, что именно в этом всё дело. Но поскольку ты юноша рассудительный, то должен и сам понимать, что когда ты прочитаешь все нужные книги, приобретешь все необходимые знания и станешь профессором, тогда, пожалуйста, бегай, купайся, целуйся с девчонками — я тебе и слова не скажу. А до той поры ты не должен терять ни одной минуты, и надо принять какие-то меры, чтобы молодость тебя не отвлекала от чтения и занятий.

— Но какие я могу принять меры? — говорил Федя Мойкин. — Куда же мне девать свою молодость? Ведь под кровать ее не засунешь?

— Зачем под кровать! — отвечала она. — Под кровать не годится, под кроватью ее мыши могут погрызть, а молодость у человека бывает только одна, и ее надобно беречь. А сберечь ее, мой друг Мойкин, можно хотя бы в ломбарде. Заверни ты свою молодость в газету, перевяжи веревочкой, снеси в ломбард и сдай ее там на хранение, как сдают на лето шубы. Там посыплют твою молодость нафталином, прикрепят к ней ярлычок, выпишут тебе квитанцию, а когда ты прочитаешь все нужные книги, приобретешь все необходимые знания и станешь профессором, тогда предъявишь квитанцию и получишь свою молодость обратно в целостности и сохранности.

И рассудительный Федя Мойкин так и сделал. Он завернул свою молодость в газету, перевязал ее крест-накрест веревочкой и отнес в ломбард.

— Вот, — сказал он приемщику, — сохраните, пожалуйста, на несколько лет. Тут всё: вот мои безрассудные юношеские порывы, вот мое стремление к праздным забавам, вот мое желание целоваться с

девчонками, а тут мой хохолок, который всегда торчит торчком, сколько я его ни приглаживаю.

Приемщик всё это проверил, пересыпал нафталином, выписал квитанцию, и Федя Мойкин ушел весьма довольный, что теперь уж ничто не будет отвлекать его от книг и уроков.

И действительно, как только он вернулся домой, так сразу почувствовал, что у него не осталось никаких безрассудных юношеских порывов, что ему не хочется ни предаваться праздным забавам, ни целоваться с девчонками, а хочется только сидеть за книгами с самого утра и до позднего вечера.

И, удивляя всех своим прилежанием, он просидел за книгами много лет: с утра до вечера, зимой и летом, в будни и воскресенья. И когда были прочитаны все нужные книги и приобретены все необходимые знания, он стал наконец профессором.

В этот день ему стукнуло пятьдесят восемь лет, из которых сорок лет он не тратил ни минуты на праздные забавы. Пятьдесят восемь лет стукнули его так сильно, что теперь он сидел в своем кресле, трясясь от старческой немощи, седенький и лысенький, окруженный своими внучатыми племянниками, которые читали ему статьи, превозносящие его обширные знания.

«Вот теперь, — думал он, кутаясь в теплый халат и шаркая по полу войлочными туфлями, — я вполне могу наверстать упущенное и насладиться своей молодостью. А то, мой друг Мойкин, пожалуй, так и помрешь, не отведав молодости, о которой люди говорят, что это лучшая пора жизни».

И, вызвав такси, он отправился в ломбард, разыскал то окошечко, куда предъявляют квитанции, чтобы получить обратно вещи, сданные на хранение, и

вскоре ему принесли его молодость, завернутую в пожелтевшую газету и перевязанную крест-накрест веревочкой.

— Большое спасибо! — прошамкал он беззубым ртом и, как только взял свою молодость в руки, так сразу почувствовал какое-то странное волнение в крови и легкий зуд на лысой макушке.

Не каждому удастся на старости лет получить обратно свою молодость, и старый Мойкин нес ее бережно, опасаясь, как бы не уронить на пол, не помять под мышкой и не забыть в такси.

Придя домой, он развязал веревочку, развернул газету и нашел свою молодость свежей, как в тот день, когда он снес ее в ломбард. Всё было в полной сохранности: и безрассудные юношеские порывы, и стремление к праздным забавам, и желание целоваться с девчонками. Даже русский хохолок по-прежнему вскочил торчком на его гладенькой лысине.

И Мойкин снова стал юношей.

Только теперь о! стал старым юношей.

Вот в этом-то всё и дело.

Но об этом он не подумал, и, увидев, что внучатые племянники с криком и гиканьем бегут к реке купаться, он поддался своему безрассудному юношескому порыву, распахнул окно и крикнул:

— Пойдите! Пойдите! И я с вами!

И с юношеским пылом, кряхтя от старческой немощи, стал взбираться на подоконник.

— Поглядите! Дедушка в окно лезет! — закричали внучатые племянники. — С ума он сошел от старости, что ли?

А их юный дедушка, с трудом взбираясь на подоконник, чувствовал такую усталость и одышку и так ему стало холодно у раскрытого окна, что он

подумал: «Действительно, с ума я сошел от молодости, что ли? Какое может быть удовольствие в том, чтобы прыгать в окно, бежать по улице и бросаться в холодную реку, когда можно, не выходя из дому, принять теплую ванну...»

И внучатые племянники, не добежав до реки, вернулись обратно. Они помогли своему дедушке слезть с подоконника, они привели его к дивану, укрыли пледом, положили мокрое полотенце на голову и горячую грелку к ногам и, убежав играть в футбол, оставили возле дедушки одного из внучатых племянников, приказав оказывать дедушке почет и читать ему вслух статьи, превозносящие его обширные знания.

За окном металась ветви деревьев, стал накрапывать дождь, а в комнате было тепло и тихо. Старый юноша лежал на диване, грея под пледом свои старые кости, испытывая желание целоваться с девчонками и прислушиваясь к хрусту своих подагрических суставов.

В это время он заметил прижавшуюся к оконному стеклу нашлепочку носа и хитрые раскосые глазки какой-то школьницы. И, почувствовав, что подсохший хохолок снова вскочил на его гладенькой лысине, он отпихнул ногой грелку и закричал, что он сейчас, что только наденет брюки, шерстяную фуфайку, вязаный жилет и ботинки с галошами.

Но, оглянувшись вокруг, он увидел спину своего внучатого племянника, который уже выпрыгивал из окна к хитроглазой школьнице, и, сколько старый юноша ни кричал, он не мог его докричаться.

И, лежа в одиночестве, он думал: «Как видно, это старость мешает мне наслаждаться молодостью. Не попробовать ли сдать свою старость в ломбард, как

прежде я сдал свою молодость, а когда наслажусь молодостью досыта, тогда съезжу в ломбард, предъявлю там квитанцию, получу обратно свою старость и умру в глубокой старости, как приличествует солидному профессору».

Так он и решил сделать. На следующий день встал чуть свет, завернул свою старость в газету, перевязав ее крест-накрест веревочкой, и, вызвав такси, поехал в ломбард.

— Примите, пожалуйста, мою старость, — сказал он приемщику. — Вот моя старческая немощь, вот мои морщины, вот лысина, а это проклятая подагра, из-за которой я не могу даже влезть на подоконник.

— Не всё, папаша, — сказал приемщик.

— Ах, простите, — воскликнул Мойкин, — я совсем забыл про склероз! — И он протянул в окошко свой склероз. — Вот теперь уже, кажется, всё.

— Нет, папаша, — сказал приемщик, — комплект не полный. Какая же это старость без тех знаний, которые вы всю жизнь приобретали? А ну-ка вкладывайте сюда свою ученость, и заработки тоже, и почет не забудьте — тот почет, который вам оказывает весь город.

— Как? — закричал Мойкин. — Что же останется мне?

— А молодость? — сказал приемщик.

— Только молодость? — воскликнул Мойкин. — И я опять стану глупым и невежественным мальчишкой, каким был в восемнадцать лет?.. Нет уж, покорно благодарю! Отдавайте обратно мою лысину и морщины, мою подагру и мой склероз. Уж лучше я останусь со своей старостью, а что касается молодости, так я подумаю, как бы мне всё-таки ею насладиться.

И, забрав свою старость, он поехал домой, обдумывая, как бы насладиться своей молодостью.

Но старость — это старость, и если человеку недавно стукнуло пятьдесят восемь лет и он встал чуть свет, ездил в ломбард и спорил с приемщиком, то, когда он возвращается домой, ему уже не до молодости, — ему дай бог только добраться до дивана и вытянуть усталые ноги.

А когда он добрался до дивана и вытянул усталые ноги, то сразу стал похрапывать.

Проснувшись, он заметил свою молодость.

Она валялась возле дивана на полу, рядом с войлочными туфлями.

«Что мне с ней делать? — думал он. — Только сорот нее...»

И велел вынести ее в чулан.

— Как, дедушка, вы хотите выбросить свою молодость, так и не насладившись ею? — спросили у него внучатые племянники.

— Что ж поделать, — вздохнул он, — зато я стал профессором, которого знает весь город.

А в полдень ему позвонили по телефону и сообщили, что его желает видеть академик, которого знает весь мир.

— Ай! — закричал Мойкин. — Я так польщен, я так взволнован! Дайте мне скорее бром с валерьянкой! Дайте мне скорее шляпу и палку и вызовите машину!

Академик был толстый, седой и краснощекий. Увидев Мойкина, он весело закричал:

— Здорово, Мойкин! Здорово, дружище! Сколько лет, сколько зим!

— Простите, — сказал Мойкин, — разве мы с вами знакомы?

— А как же, — ответил академик, — футбольную площадку помнишь? Вратаря помнишь?

— Рыжего? — спросил Мойкин.

— Рыжего, — ответил академик.

— Такого ветреного шалопая? — спросил Мойкин.

— Шалопая, — ответил академик.

— Который меня от занятий отвлекал?

— Того самого, — ответил академик. — Хорошее время — молодость.

— Хорошее? — спросил Мойкин.

И когда он вернулся домой, то, размышляя о словах академика, он заглянул в чулан, где валялась его молодость.

Но там было темно, и он ничего не мог разглядеть.

И до сих пор валяется его молодость в чулане вместе с ломаным велосипедом без одного колеса, продырявленным стулом, заржавленными коньками и старой клизмой, у которой разбита кружка и остался только шланг с наконечником.



Забывшая Кенка

Это такая наивная и непоучительная история, что даже рассказывать ее стыдно, тем более что кто-нибудь может подумать, будто я против размышлений и считаю, что совершать необдуманные поступки лучше, чем обдуманные.

Нет, совсем наоборот: я очень люблю размышлять и при всяком удобном случае размышляю о том и

о сем, и семь раз примеряю, прежде чем один раз отрежу, и считаю, что лучше совершить один обдуман- ный поступок, чем десять необдуманных. И вот, руко- водствуясь такой мудростью, я довольно благополуч- но добрался до пятидесяти с лишним лет, и хотя на- жил за эти годы лысину, одышку, ревматизм и груд- ную жабу, но зато окружен теперь нежными детьми и веселыми внуками, что на старости лет надо считать большой удачей.

А вот Феде Мойкину, другу моей юности, повезло меньше. У него до сих пор нет ни внуков, ни детей, ни жены, хотя всю жизнь он был таким рассудитель- ным, что шагу не решался ступить, не обдумав этот шаг предварительно; даже зачерпнув ложкой суп из тарелки, он сначала не спеша поразмышляет о том, что делать дальше и какие это может иметь послед- ствия, а потом уж сует ложку в рот.

Так он размышлял по всякому поводу без особого для себя ущерба вплоть до той весны, когда небыва- лая в наших краях эпидемия охватила все наше обще- житие, всю улицу и, как говорят, даже весь город.

Весна в тот год была чудесная, вся в лучах, в брыз- гах и сверкающих каплях. Все мы были погружены в обычные весенние заботы: готовились к экзаменам, ремонтировали велосипеды, радовались тому, что пригревает солнышко и распускаются на деревьях почки, и ничто не предвещало беды, пока весенний ветер не занес на нашу улицу любовных микробов.

Эпидемия распространялась со страшной быстро- той, и уже через несколько дней все мы тяжело взды- хали, писали нежные стихи и признавались друг дру- гу в сердечных тайнах.

Любовные микробы, по-видимому, были рассея- ны повсюду: в дождевых капельках, на зеленых

листиках, в складках девичьих платьев и даже в звонках трамваев, которые плыли по улицам, как певучие флейты.

Любовь подстерегала нас, куда бы мы ни шли — на работу, в школу, в клуб, в магазин или в кино. И к началу мая уже были влюблены все мальчики и все девочки, все парни и все девушки, и даже некоторые пожилые мужчины и женщины, и даже три старика и шесть старушек.

Дольше всех держался Федя Мойкин.

Размышляя о том, что влюбленные опаздывают на работу, проводят ночи без сна и худеют, не встречая взаимности, он старался пореже выходить из дому, особенно в вечерние часы, когда опасность заражения наиболее велика. Он ходил только на завод, так как заводы и фабрики, несмотря на эпидемию, всё еще продолжали работать; в столовую, так как без обеда не могли обойтись даже влюбленные; и в баню, где благодаря разделению полов опасность заражения была наименьшей.

Соблюдая разумную осторожность, он быстро шел по улице, и хотя мимо него шли чудесные девушки, черненькие и беленькие, высокие и низенькие, тоненькие и толстушки, и хотя каждая из них могла бы воспламенить нас, как спички, если бы мы уже не пылали, как факелы, Федя Мойкин шел мимо них, предусмотрительно обдумывая каждый шаг и каждый взгляд, и мы были уверены, что он, единственный из нас, сбережет в эти тревожные дни свой душевный покой.

Но мы ошиблись.

Любовь подстерегла Федю Мойкина не на заводе, не в школе, не в клубе и не в кино. Любовь подстерегла его в бане, возле киоска с аптекарскими

товарами. Там стояли три девушки. Одна из них покупала мочалку. Это была красавица Катенька, в которую влюблялись все пареньки с нашей улицы, как только им исполнялось восемнадцать лет. И не влюбиться в нее в восемнадцать лет было так же невозможно, как в девятнадцать лет обойтись без бритвы.

И как только Федя Мойкин увидел ее, так в тот же миг и полюбил без всяких предварительных размышлений.

До сих пор он совершал лишь обдуманые поступки и всё в жизни делал как надо. Но вдруг он стал совершать лишь необдуманые поступки и всё делать наоборот.

Ему следовало пойти вместе с нами к мужскому отделению бани, а он пошел вслед за красавицей Катенькой к женскому. Ему следовало вымыться, как вымылись мы, а он остался невытым. Ему следовало подумать о том, что сказать Катеньке, когда она выйдет из бани, а он ни о чем не подумал, а просто взял из ее рук мокрую мочалку, и пошел провожать ее домой, и молча сидел у нее весь вечер, глядя на нее влюбленными глазами. А когда она сказала, что он славный мальчик и что пусть придет завтра, то он так растерялся, что, уходя, даже забыл у нее свою кепку.

И всю ночь не спал Федя Мойкин. Мы не спали в эту ночь тоже. Мы слушали, как бьется его сердце.

— С кем оно так бьется? — спросил один из нас, приподнявшись в темноте на своей кровати.

— Разве ты не слышишь? — сказал другой. — Оно бьется с его рассудком.

Оно билось, как в стены темницы, маленькое, неопытное и отчаянное сердце влюбленного паренька.

«Доверься мне, — молило оно, — доверься. Ты любишь Катеньку, иди к ней завтра. Разве я враг тебе? Разве я не хочу тебе счастья? Доверься мне не раздумывая, доверься бесстрашно, — это и есть любовь».

Но рассудок говорил спокойно и властно:

«Не делай глупости, Федя Мойкин. Разве для того ты окончил школу, ходил на лекции и читал умные книги, чтобы довериться какой-то жалкой мышце, безответственной и безрассудной?»

«Не слушай его, — молило сердце, — он трусливый и недоверчивый...»

«Я мудрый и опытный, — говорил рассудок. — Сердце умеет только любить и ненавидеть, радоваться и горевать, а я умею обобщать и сравнивать, и делать выводы, и предвидеть будущее. Меня обучили физике и химии, географии и истории, а сердце осталось неграмотным, его нельзя обучить ничему».

«Цветок тоже нельзя ничему обучить, — молило сердце, — и речку тоже, и небо, и солнце. Доверься мне, доверься!..»

Оно билось с такой отчаянной яростью, безответственное и неграмотное, смелое и доверчивое сердце Феди Мойкина, что железная сетка под его матрацем звенела на всю комнату.

Но утром, когда солнечные лучи робко прокрались из-за занавески, и мы уже делали утреннюю гимнастику, и радио орало на полную громкость, рассудок Феди Мойкина победил его безрассудство.

«Нет, это не настоящая любовь, а только легкое увлечение, и идти к Катеньке мне не следует, — говорил рассудок Феди Мойкина. — Если бы я полюбил по-настоящему, то был бы готов на всякие безумства, а я еще готов не на всякие...» Так убеждал себя Федя Мойкин всё утро, весь день и весь вечер.

И чем больше он убеждал себя, тем труднее ему было решить: любит он Катеньку или не любит и стоит ему к ней идти или не стоит.

И он продолжал размышлять об этом всю неделю и весь месяц, потому что знал, что надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать.

И он продолжал размышлять всю весну, всё лето, всю осень и всю зиму.

А когда наступила следующая весна и любовные микробы опять стали появляться в дождевых каплях, на зеленых листиках и в складках девичьих платьев, Федя Мойкин пришел всё-таки к решению, что он любит красавицу Катеньку, как еще никогда никого не любил, и что он должен пойти к ней и сказать ей об этом.

И он пошел к красавице Катеньке, он поднялся на четвертый этаж и, задышавшись от робости, тревоги и надежды, уже собирался было нажать кнопку звонка, как вдруг дверь открылась и на пороге появилась Катенька. И как только Федя Мойкин увидел ее, так сразу же понял, что такое счастье, о котором люди мечтают испокон веков.

Он понял это и чуть было не закричал от радости, но закричать не успел, потому что за спиной Катеньки увидел могучего парня, который, держа в руках закутанного в одеяло младенчика, сиял от гордости, как электрическая лампочка в двести ватт.

— Здравствуй, Федя, — сказала красавица Катенька. — Как давно ты не приходил, да и сейчас не вовремя. Вот мы нашего ребеночка несем в консультацию. Если хочешь, подожди. Мы вернемся и расскажем тебе, сколько он прибавил в весе.

И так как Федя Мойкин был парнем весьма рассудительным, и никогда не делал ничего необдуман-

ного, и знал, что надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, то и в этом случае он поразмыслил предварительно минуту или две, а потом сказал так тихо, что Катенька даже не расслышала:

— Я за кепкой, Катенька. Я забыл у вас свою кепку. — И вдруг всхлипнул неожиданно и необдуманно и сказал еще тише: — Ну да ничего, я и без кепки как-нибудь... — и стал пятиться назад, вниз по лестнице, такой испуганный и несчастный, будто никогда в жизни ему не понадобится больше ни кепка, ни фуражка, ни шляпа, ни ушанка, ни берет, ни тюбетейка.

А ночью мы опять слышали, как стучит сердце Феде Мойкина.

«Тут-тук, — стучало оно тихо и робко, — почему ты веришь своему рассудку и своим глазам, своим учителям и своим книгам, и только мне ты не веришь, и боишься меня, и стыдишься, точно я дикий зверек, которого надо держать в клетке или на привязи? Тут-тук, — стучало оно, — тук-тук».

И мы, высунув головы из-под одеял, долго слушали в темноте, как стучит и жалуется маленькое обиженное сердце нашего товарища.



Сеню Пташкина знает вся наша улица. Когда он идет в кино, или на стадион, или на свидание, скромный, чуть смущенный и симпатичный, все парни и все девушки замедляют шаг и, кивая в его сторону, говорят:

— Вон идет знаменитый Сеня Пташкин, о котором писал сам академик Щеголь!

Он работал на обувной фабрике, в цехе тапочек, и был пареньком ничем не приметным: вперед никогда не совался, прочитанными книжками не хвастался; все шутят — и он шутит, все идут в баню — и он в баню, все влюбляются — и он влюбляется.

А между тем в своем цехе он пользовался большим уважением, потому что шил такие легкие, мягкие и во всех других отношениях замечательные тапочки, что не одна пара ног должна была бы благодарить его пару рук. Но ноги, как известно, безгласны. Поэтому ничто не обещало Сене Пташкину славы.

И он неплохо обходился без славы, вполне удовлетворяясь тем, что зарабатывал прилично и каждый вечер ходил в кино, на стадион или на свидания с девушками.

Так бы Сеня Пташкин, наверно, и прожил без славы всю свою жизнь, если бы из разговоров с товарищами не узнал, что наш поэт и красавчик Витя Влюбченко надеется прославиться своими стихами, умный Миша — критическими статьями, Никита Мудрейко — научными исследованиями, а Шурик Трифонов — пляской вприсядку. И хотя Сеня Пташкин был парень неглупый и отлично понимал, что слава — это не предмет первой необходимости, как, допустим, штаны, без которых не пойдешь даже в баню, но всё-таки он опасался, что все его друзья прославятся, а он один останется никому не известным.

И это его очень тревожило.

Однажды, уже поздно вечером, когда мы улеглись в постели и собирались погасить свет, он спросил, весьма озабоченный:

— Скажите, ребята, как вы думаете, может ли человек прославиться своими тапочками?

Никита Мудрейко ничего не ответил, потому что уже спал. Витя Влюбченко ответил, что слава — это дым. А умный Миша, откинув одеяло, сел на кровати, надел на свой маленький носик очки и сказал так:

— Слава — это, безусловно, дым, а мечты о славе — явный пережиток капитализма. Но пока ты еще не вывел этого родимого пятнышка из своего сознания, я скажу тебе прямо, что прославиться тапочками нельзя, потому что тапочки — изделие анонимное.

— А не попробовать ли мне на тапочках писать свое имя? — спросил Сеня Пташкин.

— Напрасно, — сказал умный Миша. — Имя известного человека должно быть у всех на языке, но я никогда не слышал, чтобы имя известного человека было у всех на ногах. А если тебе так уж хочется прославиться, то я советую заняться искусством. Не можешь ли ты, скажем, рисовать?

— Смотря что, — ответил Сеня Пташкин. — Ступню я рисовал много раз, потому что без нее подметки не выкroiшь, но достаточно ли уметь нарисовать ступню, чтобы стать художником, в этом я не уверен.

— Почему же не достаточно? — сказал умный Миша. — Разве ступня состоит не из таких же тканей, как и другие части тела? И если ты уже сейчас можешь нарисовать ступню, то, когда поучишься, вполне сможешь нарисовать и всего человека. Так что давай не теряй зря времени. Иди завтра в Дом культуры, запишись в кружок юных художников, и я совершенно уверен, что не пройдет и двух лет, как твоя картина появится на выставке и на нее обратит внимание сам академик Щеголь, который не так давно читал у нас лекцию об итальянском художнике Леонардо да Винчи и прославил его на всю нашу улицу.

И на следующий день Сеня Пташкин пошел в Дом культуры кожевников и записался в кружок юных художников.

Кружком юных художников в этом Доме культуры руководил один весьма известный художник, который сам умел писать очень хорошие картины, но совершенно не умел учить этому других.

— Мои дорогие юные друзья, — говорил он, — чтобы стать хорошим художником, в первую очередь необходимо иметь краски и кисти. Но если бы весь секрет был только в этом! Нет, друзья мои, я думаю, что, для того чтобы прославиться на столетия, надо иметь еще холст и подрамник!

Так он учил юных художников.

Сеня Пташкин купил себе краски и кисти, холст и подрамник, потерял всякий интерес к шитью тапочек, перестал ходить в кино, на стадион и на свидания с девушками и, каждый вечер приходя в Дом культуры учиться рисовать, чувствовал, что он день ото дня творчески растет.

Сначала он умел рисовать только ступню человека, потом научился рисовать всю ногу, потом — обе ноги, а потом — и всего человека. Не прошло и двух лет, как он написал свою первую картину, которая называлась «Портрет». Взял он эту картину под мышку, сдвинул на белокурый затылок кепку и пошел на выставку.

Картину повесили, а Сеня Пташкин скромненько отошел в сторонку и стал ждать славы.

Пришел на выставку умный Миша, надел очки, встал на цыпочки, чтобы получше всё рассмотреть, и сказал так:

— Молодец, Пташкин! Это тебе не тапочки. Выдающееся ты создал произведение. Ведь это только

подумать, какое тут нарисовано типичное лицо: наверху у него лоб, внизу — подбородок, а посредине — нос, и в носу две дырочки. Удивительно всё верно схвачено. Теперь уж у меня нет никаких сомнений, что сто́ит академику Щеголю увидеть твою картину, так сразу же он и прославит тебя на всю нашу улицу, как прославил Леонардо да Винчи.

И только он это сказал, как вошел академик Щеголь.

Он был старенький, сухонький и седенький. Две маленькие старушки набожно вели его под руки, а он кряхтел и охал при каждом шаге.

— Товарищ академик, — сказал умный Миша, — я вас очень прошу взглянуть, какая здесь висит картина.

Кряхтя и охая, подошел академик к картине, поглядел на нее спереди, поглядел справа, поглядел слева и сказал:

— Что ж, картина? Ничего картина. Пусть висит. Не принесла эта картина славы Сене Пташкину.

— Странно, — сказал умный Миша. — Очень странно; просто даже непонятно. Может быть, тебя неправильно учили, Пташкин?

— Может быть, — вздохнул Сеня Пташкин.

— Может быть, тебе надо рисовать не портреты, а натюрморты? — сказал умный Миша.

— Возможно, что в этом всё дело, — согласился Сеня Пташкин.

— Вот у пишевиков, говорят, учат рисовать натюрморты. Сходил бы ты в Дом культуры пишевиков.

И на следующий день Сеня Пташкин взял свою картину под мышку, сдвинул на белокурый затылок кепку и пошел в Дом культуры пишевиков.

Кружком юных художников там руководил один весьма неизвестный художник, который сам хороших картин писать не умел, но зато отлично умел учить этому других.

Поглядел он на картину Сени Пташкина и сказал так:

— Ну конечно, мой мальчик, вас учили неправильно. Чтобы прославиться на столетия, надо иметь не только краски и кисти, холст и подрамник, но еще усердие и терпение.

А усердие и терпение Сени Пташкина были неистощимы. К тому же, стоя за мольбертом в своих чудесных тапочках, он нисколько не чувствовал усталости и мог рисовать хоть весь вечер и всю ночь без передышки. Поэтому не прошло и двух лет, как он принес на выставку новую картину, которая называлась «Натюрморт».

Пришел на выставку умный Миша, надел очки, встал на цыпочки и сказал так:

— Поздравляю, Пташкин! От всей души поздравляю. Это тебе не портрет. Сразу видно, что теперь тебя учили правильно. Ведь это только подумать, сколько надо усердия, чтобы помидоры нарисовать такими красными, а огурцы — такими зелеными. А что касается терпения, так и говорить нечего: ведь одной картошки здесь, пожалуй, килограммов пять будет, не меньше. Ну, теперь-то уж можешь мне поверить, что как только академик Щеголь увидит эту картину, так сразу же он и прославит тебя на всю нашу улицу, как прославил Леонардо да Винчи.

Так он сказал и стал вместе с Сеней Пташкиным поджидать академика Щеголя.

Поджидали они его до самой ночи, но академик Щеголь так и не пришел.

Позвонили ему по телефону. К телефону подошла какая-то старушка и ответила набожным шепотом:

— Какие там картины, когда они даже с постели встать не могут, так у них к дождю разыгрался ревматизм!

— Вот тебе и раз, — сказал Пташкин, — как же теперь быть? А не может ли кто-нибудь другой оценить мое искусство?

— Нет, — сказал умный Миша, — другого такого ценителя искусства в нашем городе нет, и если ты хочешь прославиться, так должен сам пойти к академику Щеголю, пробраться к нему тайком от старушек и повесить картину в его спальне так, чтобы утром, проснувшись, он сразу ее увидел. И можешь не сомневаться, что какой бы у него ни был ревматизм, но, увидев твое произведение, он просто заплачет от радости, такой он тонкий ценитель искусства.

И Сеня Пташкин, как и прежде, последовал совету умного Миши. Когда кончился дождь, он сдвинул на белокурый затылок кепку, взял под мышку свою картину и пошел к академику Щеголю.

В доме академика было уже темно. Окна раскрыты настежь. В большой комнате, на широкой кровати, освещенной луной, спал академик. Он был такой маленький, сухонький и седенький, что казалось, будто под одеялом вообще ничего нет и только на подушку кто-то обронил несколько легких светлых пушинок.

Опасливо оглядываясь по сторонам, Сеня Пташкин полез в окно. Все стены спальни академика были увешаны картинами. Только высоко над столом, под самым карнизом, разыскал Сеня Пташкин выцветшее пятнышко обоев и свободный гвоздик. Академик улыбался во сне чему-то прекрасному.

Сеня Пташкин снял свои грязные тапочки и осторожно забрался на стол. Он уже совсем было повесил картину и оставалось только поглядеть снизу — ровно ли она висит, как вдруг услышал позади себя шорох и, забыв про тапочки, прямо со стола перескочил на подоконник. Через минуту он уже бежал по ночной улице, и редкие прохожие, глядя на его полосатые носки, шлепавшие по лужам, думали о нем бог знает что.

Почти всю ночь мы не сомкнули глаз, опасаясь, как бы не проспять славу Сени Пташкина. Мы прислушивались к каждому звуку в коридоре, думая, что это слава стучится в нашу дверь. Но под утро мы всё-таки заснули, и спали так крепко, что слава не могла нас добудиться, а когда добудилась, то сердито сказала:

— Оглохли вы, что ли? Распишитесь.

И протянула телеграмму Сене Пташкину.

В телеграмме было сказано: «Всё утро плясал. Счастлив приветствовать юное дарование. Вечером жду в гости. Академик Щеголь».

— Вот видишь, — сказал умный Миша, — я же говорил, что он будет плясать!

Вечером академик Щеголь сам выбежал в прихожую, чтобы встретить Сеню Пташкина. Он выбежал в голубенькой пижаме, маленький, худенький и седенький, ликуя и приплясывая, и две старушки бежали за ним и пытались подхватить его под руки.

Он привел Сеню Пташкина в свою комнату и усадил его на диван.

— Я весь день пляшу от радости, — говорил он. — Ты, наверно, и сам не понимаешь, какой у тебя выдающийся талант, и я просто поражен, что до сих пор твое имя еще никому не известно.

— Очень вам благодарен, — ответил Сеня Пташкин, краснея и смущаясь. — Я так счастлив, что моя картина вам понравилась.

— Какая картина? — спросил академик Щеголь с интересом. — О какой картине ты говоришь?

— Как какая? — удивился Сеня Пташкин. — Вон она висит над столом.

Академик взглянул на стену и воскликнул:

— Да, там действительно висит какая-то картина. А я ее даже не заметил.

— Товарищ академик, я чего-то не понимаю, — сказал Сеня Пташкин и встал с дивана. — Если вы даже не заметили моей картины, так почему вы расхваливаете мой талант?

— А как же его не расхваливать, когда я помолодел лет на сорок и обязан этим только тебе, дружок, — сказал академик и вновь усадил его на диван. — Когда я опустил свои немощные ноги с кровати и сунул их в твои тапочки, которые спросонья принял за свои, так сразу же почувствовал себя не дедушкой своего внука, а внуком своего дедушки. Я попробовал подпрыгнуть, и оказалось, что могу скакать, как девчонка на панели. И когда я сообразил, что дело в тапочках, то бросился к телефону и позвонил на обувную фабрику, чтобы мне объяснили, что произошло — или я сошел с ума, или кто-то принес мне волшебные тапочки. Но мне сказали, что, наверно, я сошел с ума, если, будучи академиком, думаю, что тапочки могут быть волшебными. Так я узнал о твоём таланте.

Через неделю академик Щеголь говорил о Сене Пташкине по радио.

Через две недели он написал о нем статью в газету.

А через месяц прочитал лекцию в клубе.

И теперь вся наша улица знает Сеню Пташкина не меньше, чем Леонардо да Винчи.

Так пришла к Сене Пташкину слава.

А ко мне слава не пришла, хотя я давно уже не хожу ни в кино, ни на стадион, ни на свидания, и с таким же терпением, с каким Сеня Пташкин писал картины, пишу свои рассказы и сказки.

И хотя я отлично понимаю, что слава — это дым, а не предмет первой необходимости, как, допустим, штаны, без которых не пойдешь даже в баню, но иногда я вздыхаю и гляжу без надежды на свои анонимные тапочки: ах, почему я не умею шить тапочки! Может быть, тогда и меня знала бы вся наша улица, как знает она Сеню Пташкина и Леонардо да Винчи!

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО МОЛОДОМУ ДРУГУ	3
УМНЫЙ МИША	7
ПРЕКРАСНАЯ ГЛАША	13
НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ	26
БЕДНЫЙ ШУРИК ПЕТРОВ	32
ПИРОГ С КАПУСТОЙ	39
МОЙ ДРУГ ЛЕНЯ ВЬЮШКИН И ЗЛЫЕ СОБАКИ	47
ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ	53
ПУП	66
АНДРЕЙ ХИЖИНА И ЕГО ГОРЕ	70
БОГИНЯ ДУНЯ	81
ГЛУПЫЙ ВАНЕЧКА	95
ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСЕЛ	107
СТАРЫЙ ЮНОША	114
ЗАБЫТАЯ КЕПКА	125
ВОЛШЕБНЫЕ ТАПОЧКИ	132

Давид Яковлевич Дар
„КНИГА ЧУДЕС“

Редактор Н. А. Чечулина
Художник М. С. Белолицкий
Художник-редактор О. И. Маслаков
Технический редактор Э. М. Колесова
Корректор Л. М. Ван-Заам

Сдано в набор 23/IV 1968 г. Подписано к печати 19/VII 1968 г. Формат бумаги 70×108^{1/2}. Гираж 65 000 экз. Усл. печ. л. 6,3. Уч.-изд. л. 5,65. Бумага тип. № 2. М-24200. Заказ № 470.

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59
Типография и.м. Воюдарского Лениздата,
Фонтанка, 57
Цена 17 коп.

17 коп.

